

МИХАИЛ ФИЛИППОВ

ПАТРИАРХ
НИКОН. ТОМ 2

Михаил Авраамович Филиппов

Патриарх Никон. Том 2

Серия «Россия державная»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28536820

Патриарх Никон: Роман. Т. 2. / Филиппов М. М.: Мир книги,

Литература; Москва; 2011

ISBN 978-5-486-03936-2, 978-5-486-03940-9

Аннотация

Филиппов Михаил Авраамович (1828–1886) – юрист, публицист и писатель. Родился в Николаеве. Воспитывался в Ришельевском лицее, откуда перешел на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. По окончании курса со степенью кандидата прав Филиппов посвятил себя юридической и журнальной деятельности, публикуя в периодике статьи по юридическим вопросам, большая часть которых вошла в наиболее значительный его труд – двухтомник «Судебная реформа в России» (1872–1875). Кроме того, перу Филиппова принадлежат романы «Скорбящие» (был изъят из обращения), «Рассвет» и «Патриарх Никон», а также историческая повесть «Под небом Украины». Во втором томе представлена вторая книга романа, в которой Никон предстает не только как патриарх, но и как крупный политический деятель, основатель и строитель монастырей, реформатор Церкви. Его принципиальность и

непримиримость приводят к церковному расколу, и на престоле утверждаются два патриарха, один из которых правит, а второй – Никон – попадает в опалу.

Содержание

I	5
II	12
III	23
IV	30
V	43
VI	56
VII	64
VIII	73
IX	76
X	89
XI	104
XII	114
XIII	123
XIV	134
Конец ознакомительного фрагмента.	145

Михаил Авраамович Филиппов

Патриарх Никон. Том 2

I Новый Иерусалим

Стоят прекрасные весенние дни 1656 года. Москва в большом движении: колымаги, рыдваны, кибитки, возы, верховые и пешеходы движутся уже несколько дней на новгородскую дорогу. У всех запасы провизии. Проезжают по той же дороге и гости (купцы) с обозами разного съестного и питья. Туда же направляются и множество духовных особ: белого и черного духовенства — кто в чем.

Вот и сам царь со всем двором, окруженный огромной свитой и рейтарами, выезжает туда же.

По всей дороге, как видно, ожидали такое всеобщее движение: повсюду вновь возникшие трактиры, заезды, распродажа съестного и питья.

Едет этой дорогой и царь Алексей Михайлович и на пятидесятой версте от Москвы сворачивает в сторону и видит, неожиданно, над рекой Истрой, на горе, обширный стан.

– Это Новый Иерусалим! – восклицает он набожно и выходит из своего экипажа. – Нас, – продолжает он, – встретит, верно, святейший патриарх.

Все спешиваются, окружают царя и движутся вперед.

У подножия горы встречает царя патриарх Никон, окруженный сонмом духовенства, хоругвями и иконами, а впереди его несут Животворящий Крест.

И царь, и двор, и народ – все падают ниц, патриарх благословляет всех и целуется с царем.

– Великий государь, – говорит он, – да будет приход твой на это место, где сподобил меня Господь Бог воздвигнуть обитель и храм Воскресения, великим знамением, что цари российские вовеки будут посещать сей храм. Чтобы благодать Царя царствующих на них снизошла и спасала от врагов... Я и все российское духовенство приветствуем и благословляем тебя. Теперь грядем на место, где предположено сооружение храма и обители: помолимся Господу сил, освятим это место и назовем его «Новый Иерусалим»...

С этими словами Никон двинулся вперед с Животворящим Крестом, а за ним царь и народ, и все запели единогласно: «Тебе Бога хвалим»...

Местность была восхитительная: волнистая и в рощах, а у подошвы река Истра живописно извивалась. Приехавшие москвичи расположились по горе шатрами, и посреди их высились шатры – царский и патриарший. Трапеза готовилась и для царя и для народа.

Отслужил Никон молебен на реке, освятил воду, и потом набрали ее в ковши, и патриарх пошел окроплять все места, где предполагались сооружения.

На том же месте, где предположено было заложить храм Воскресения, были уже выкопаны рвы и приготовлены камни и монеты.

Здесь Никон остановился, и начался вновь молебен и водосвятие, после чего царь положил в ров первый камень и монету; то же самое сделал и Никон.

Все духовенство и народ запели: «Тебе Бога хвалим», а потом «Спаси, Господи, люди Твоя».

По окончании этого обряда царь и бояре приложились ко кресту, и тогда патриарх, скинув облачение, повел их к обеденному столу.

За обедом царь обратился к Никону:

– Великий государь, святейший отец и богомолец наш! поведай и нам: почему ты нарек место сие «Новым Иерусалимом»?

– Великому и благоверному государю моему и предстоящим боярам, окольничим и думным дворянам небезведомо, что церковь восточная и святой Иерусалим в полону у султана... Патриархи восточные: Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский и Царьградский в полону турецком. Не может быть по этой причине и церковной свободы паломникам нашим; ходящим ко Гробу Господню чинят там всякие неправды. Вдохновил меня Святой Дух соорудить на сем ме-

сте храм Воскресения по образу и по подобию храма Иерусалимского. Да имеют благочестивые и верующие место безопасного поклонения; а святая Восточная церковь со своими блаженными патриархами да имеет убежище и приют на случай турского гонения.

Помолчав немного, он продолжал:

– Латинство тем и сильно, что папа в Риме независим и един на Западе; а наша Греко-Восточная церковь тем и слаба, что она разрознена на многие патриаршества. Молю Господа сил, да соединит Он, в грядущем, всю Восточную церковь в сем Новом Иерусалиме. Без этого не может быть единения и всех славянских народов, указанных преподобным Нестором. Мы с тобой, великий государь, положили первый камень этому единению: к нам присоединена Малая Русь, и под высокую твою руку скоро станет и Белая. С подчинением моему патриаршеству киевской митрополии присоединяется и епископство галицийское, и тебе, мой великий государь, придется его присоединить к своему царству. Но стонут еще под игом турок и немцев иные православные народы: болгаре, сербы, словенцы, моравы, герцеговинцы, босняки, черногорцы... Все они пишут и молят, чтобы ты взял их под свою высокую руку... Тогда и место сие, как пребывание их патриарха, сделается для них Новым Иерусалимом. Вот почему я и нарек сие место этим именем.

Речь эта произвела на царя благоприятное впечатление: он понял политический смысл нового храма, но боярам она

не понравилась:

— Вишь, куда залетает, — зашептались они меж собою. — Хочет сделаться всемирным и новым папою... Восточные патриаршества учреждены Вселенским собором, а он, как папа, хочет быть одним... это — латинство... еретичество... Еще и Белая-то Русь не наша... да и Малая может улыбнуться, а он метнул уж в Галицию, да и немцев, и турецкого султана полонил... Блажной, а не блаженный...

Окончился обед, и патриарх повел царя и всю его свиту на место сооружения и показывал, как и что где будет.

Царь остался всем доволен и тут же пожертвовал на сооружение храма, обители и их содержание множество деревень бывшего коломенского епископства.

Вся его свита стала тоже жертвовать, и набралось так много, что патриарх мог тотчас же приступить к постройке, тем более что планы Иерусалимского храма были уже доставлены иеромонахом Арсением, а строителем взялся быть архимандрит Аарон и один из лучших в то время архитекторов.

Несмотря однако ж на обилие жертвований со стороны бояр, что они делали лишь в подражание царю, они были этим очень недовольны, что видно было по общему их недовольному виду и перешептываньям.

Одним же из самых недовольных был Стрешнев; казна его была пуста, а тут царскому родственнику стыдно-де отстать от других, и он хотя и сделал крупное пожертвование, но в душе злобствовал на Никона.

В таком настроении он незаметно удалился от царской свиты и побрел в свой шатер.

Он застал там Хитрово, Алмаза и архимандрита Чудовского монастыря Павла.

– А! Вы, друзья, собрались... Ну, поп Берендяй задал нам тоску... Заставил раскошелиться и царя и бояр... Царь-то ничего... а вот бояре – унеси ты мое горе, точно полыни облопались... Держался я за животики – князь-то Трубецкой, скареда, и тот вотчину отдал... то есть после своей смерти... А Одоевский, Урусов, Лыков, Романовский... Ха! ха! ха! Один лишь Шереметьев, тот и пенязями, и лесом, и камнем, и землями.

– А ты что дал? – прервал его Алмаз.

– Я?., да что лучшую вотчину-то свою подмосковную, – вздохнул Стрешнев.

– А чем будешь теперь жить? – озлобился Алмаз.

– Положу зубы на полку, – улыбнулся Стрешнев.

– Зубы-то не положишь, – обиделся за него же Хитрово, – ты пойди-ка на войну да отличись, как сделали Урусов и Одоевские, и царь тебя възыщет. Не поскупится он тебе дать тогда и десяток поместьев с угодьями, пашнями и пущами.

– Держи карман пошире, – расхохотался Алмаз, – кому служба мать, кому мачеха.

– А впрямь, пойду в рать, – вздохнул Стрешнев.

– Да ведь купецкие-то дочери и молодоженки поиздыхают на Москве, – подшутил архимандрит Павел.

– Ты останешься, – засмеялся Стрешнев.

– Шутки в сторону, – серьезно возразил архимандрит, – окромя нужно ножку подставить святейшему... а коли он долой, то и монастыря и храма Воскресенья не будет, – вот и вотчины вновь отойдут назад к жертвователям.

– Оно-то так, – возразил Стрешнев, – да пойдя ты с ним, потягайся... сегодня он нагородил с три короба, а царь-то и рот раскрыл, и уши-то развесил, точно сам Иоанн Златоуст с амвона глаголет. Я, говорит... и того... и сего... и патриархи-то плевка не стоят, и вот-де папа... тот и такой и сякой распрекрасный... и будет сие место точно Рим... а я, дескать, новый папа... и все придут ко мне на поклонение... и будут-де целовать они не туфлю мою, а сапог.

– Смазной, – расхохотался Алмаз.

– Позволь, не то он говорил, – прервал Стрешнева Хитрово.

– Все едино, так я и рассказывать то буду, коли возвращусь в Москву, – рассердился Стрешнев.

– Вот за это – люблю! – восхитился архимандрит.

II

Никон стремится прорубить окно в Европу

В начале XIV века, то есть в 1323 году, на месте нынешнего Шлиссельбурга, у истока Невы из Ладожского озера новгородцы заложили крепость Орешек.

Цель ее была не только защитить свои владения от шведов и финнов, но это был порт, по которому их торговый флот вел свои операции с Европой, а морской флот, который был довольно силен, действовал в случае надобности против шведов.

Но во время междоусобицы и смут в России в начале XVII века шведы вторглись в Новгородскую область, овладели ею и вместе с тем захватили на Ладожском озере Кексгольм, или Кареллу, и Орешек.

Карелла была сильной крепостью и господствовала над западным берегом Ладожского озера, и шведы взяли ее с большим трудом: гарнизон наш бился до последнего и почти весь погиб. Овладев этими двумя пунктами, шведы отрезали нас совершенно и от Балтийского моря, и от Европы. По Столбовскому договору после тяжелой войны царь Михаил Федорович заставил шведов возвратить нам новгородские земли, но граница наша отодвинута от Ладожского озера и Невы,

так что мы остались все же без моря и без порта. Факт этот был так многозначителен, что тогдашний шведский король Густав Адольф на сейме говорил, что он не столько сожалеет о возвращении новгородских земель России, как радуется тому, что мы отодвинуты от моря: так как эта варварская страна владеет землями, дворянством и естественными богатствами, и если она получит порт в Балтийском море, то сделается страшной для Швеции соседкою.

После этого и поход именно под Смоленск, и война наша с Польшей при Алексее Михайловиче показали, что мы без порта не можем политически существовать.

Вот причина, почему тотчас после возложения на себя патриаршей митры Никон снарядил Петра Потемкина для занятия берегов Финского залива; а 25 мая он отправил к нему донских казаков, которых он благословил идти даже на Стокгольм.

Пошли эти войска на Новгород и двинулись к берегам Ладожского озера. По пути попадались Потемкину одни лишь финны; они принимали его радушно, с хлебом и солью, и указали на одни лишь шанцы, занятые шведами.

Войска наши двигались очень медленно, и потому казаки нагнали их, и они вместе обложили эту крепостцу.

Шведы отчаянно защищались, но должны были уступить силе и сдались.

Дальнейшая судьба этого похода неизвестна, но из жалоб тогдашних шведских послов видно, что он был успешен, что

захвачена вся местность Финского залива и вместе с нею множество пленных и добра.

Этот первый поход московских царей к берегам Невы и Ладожского озера не мог остаться бесследным в истории нашей, и поход Петра Великого туда же есть только продолжение начатого Никоном.

Но в то время как Потемкин прокладывал нам путь к Финскому заливу, царь, торжественно въехав в Полоцк 5 июля, через десять дней выступил в Ливонию против шведов.

Ночью через дремучие леса Ливонии по пути к Динабургу движутся пешие ратники с небольшим обозом; они идут без усталости и роздыха и спешат как бы на пир. Впереди рати двое: один средних лет, другой помоложе.

– Боярин, – говорит младший, – не осерчает царь?.. Ведь мы на разведку лишь посланы, а ты хочешь ударить на Динабург.

– И ударим, Родивон Матвеевич! Что же мешкать-то? Царь-батюшка за нами идет, и не ему же драться?.. Коли удастся, спасибо скажет; коли нет – сам пойдет с главными силами. Авось и удастся – тогда нам слава.

– Слава-то слава, боярин, а коли головы мы там сложим?

– Двум смертям не бывать, одной не миновать.

– Это-то правда.

Предводители были князь Урусов и Родион Матвеевич Стрешнев.

Когда этот отряд, имевший три тысячи четыреста ратни-

ков, приблизился к Динабургу, шведам и в голову не приходило, что он решится на что-нибудь серьезное, и полагали, как это было в действительности, что он будет ждать главные силы с царем.

Но вышло иначе: придя до света часа за два и отдохнув немного, войска наши бросились на большой город и в течение одного часа заняли его после ожесточенного боя.

Шведы отступили и заперлись в верхнем городе. Русские бросились на приступ и, хотя несколько раз были отбиваемы, но наконец одолели врагов; шведы однако же не хотели сдаваться, и все до единого погибли.

Урусов и Стрешнев всюду были впереди и только героизму своему обязаны были успехом; в особенности Стрешнев содействовал много победе.

Обладая отличным оружием и богатырской силой, он прямо косил шведских тяжелых и неповоротливых латников: у кого руку, у кого ногу, у кого голову снесет.

– Перкеле! – кричали ратники-финны.

– Фан!¹ – вопили шведы.

В тот же день и главные наши силы приблизились к Динабургу, и к удивлению царя посланец от Урусова и Стрешнева доложил ему через Богдана Хитрово, что город уж взят.

Царь очень сожалел, что Динабург не сдался, а взят с бою, и на другой день присутствовал при закладке храма во имя

¹ Перкеле и фан — черт.

Бориса и Глеба, а город велел назвать – Борисо-Глебовым².

После того все русские силы двинулись к Кукойносу. Город укреплен был так сильно, что царь писал о нем сестрам, что он может сравняться со Смоленском и окружен рвом, напоминающим ров вокруг Московского Кремля. Крепость не хотела сдаться, и Алексей Михайлович взял ее штурмом. «67 убито и 430 ранено наших», – отписывал царь в Москву, но, вероятно, потери были более значительные, и царь не хотел тревожить ни семью, ни Москву дурными вестями.

Зато крепость сильно пострадала: наши вырезали весь гарнизон, а город сожгли.

После того, собравшись с силами, царь в конце августа приблизился к Риге и осадил ее.

Первого сентября, в день Нового года, после молебна, шесть наших батарей открыли огонь по городу, и стрельба продолжалась безостановочно день и ночь.

Но успеха нельзя было ожидать: море для осажденных было открыто, и шведский флот подвозил им и провизию, и ратников, и оружие, и порох.

Мы же, напротив того, имели во всем затруднения: подвозы были почти невозможны, а местные жители не только не снабжали нас необходимым, но еще вели против нас партизанскую войну и уничтожали наших фуражиров.

² Неизвестно, что препятствует и в настоящее время это сделать в память русских героев и русских угодников: слово «Динабург» и смысла не имеет. – Авт. – Ныне он назван Двинск. – Ред.

Положение царя под Ригой становилось незавидным, тем более что там командовал шведами храбрый воин и отличный генерал граф Деллагарди.

Но царь окопался, вел правильную осаду и ждал подкреплений...

Первого октября, в день Покрова, войска наши торжествовали праздник молебном и усиленными порциями пищи и вина. После вечерни и трапезы царь зашел в свою опочивальню.

Ставка его была из избы, собственно, для него срубленной, и довольно теплая: печи русские и стены, завешенные коврами, давали большое тепло.

В опочивальню царскую зашли Матвеев, Хитрово и Стрешнев за приказаниями.

– Дела плохи, – сказал царь, – Только что получил гонца от патриарха Никона; он пишет: повсюду распутица, слякоть; поэтому подвоз пороха, орудий и хлеба будет возможен только тогда, когда установится зима... но дожидаться здесь зимы невозможно: и люди и лошади не выдержат голодухи... будет с нами то, что было с Шеиным под Смоленском: из осаждающих мы обратимся в осажденных. Тем более это вероятно, что пленные шведы говорят, что Делла-Гарди ждет короля свейского Карла с большим войском и разными снарядами.

– Что же ты, великий государь, хочешь сделать? – спросил Матвеев.

– Пока у нас имеются еще люди, лошади и порох, отступить к Полоцку и на пути захватить Юрьев (Дерпт). Ты как думаешь, Богдан? – обратился он к Хитрово.

– Я давно уж стою на том же самом. Да вот что, великий государь, позволь правду сказать, как пред Богом: думаю я, что и войну со свейцами не след было начинть: король напал на Польшу, и это было нам на руку: пущай бы он с одной стороны душил ляхов, а мы с другой. Потом ляхи одолели бы свейцев и выгнали бы их из Польши, а мы остались бы в Литве. Патриарх же затеял теперь войну со свейцами, и те оттянут свои войска от Польши, а поляки, коли кончится годичное перемирие, разобьют нас у себя, так как большая часть нашего войска здесь.

– Пойми, Богдан, мы без моря совсем войны не можем вести. Притом патриарх был только за поход Потемкина, а не на Ливонию и не за перемирие с Польшею; он осерчал, когда мы застряли в Вильне, и кричал: нужно-де идти на Варшаву и Краков. А бояре стояли на своем: на перемирии с поляками и на походе в Ригу.

– Без моря взаправду нельзя и быть; так снова взять Орешек (теперь Нотенбург) и Кексгольм, а там мы можем иметь свою крепость и свои суда, а для этого нужно послать только побольше ратников Петру Потемкину. Теперь мы погнались за двумя зайцами и ни одного не поймаем... Ригу трудно взять.

– Одначе нам Рига нужна, и Иван Грозный был здесь. Ко-

ли мы ее возьмем, к нам на помощь приведут суда и датчан и голландцев, а в Ладожское озеро им не пройти – с берегов Невы не пустят их ни финны, ни швейцарцы.

– Дай-то господи, великий государь, взять Ригу, – возразил Стрешнев, – но взять-то немогуту.

– А ты как мыслишь, Артамон Матвеевич?

– Я, великий государь, что и боярин Богдан, думаю думать: коли мы возьмем Орешек, то на острове Котлине (Кронштадт) мы устроим пристань – туда-то и пожалуют к нам и голландцы и датчане.

– Там нужно еще все устроить, Артамон Матвеевич, а в Риге все готово – облущенное яичко.

– Да вот в рот-то оно не дается, – вздохнул Хитрово.

– Но что это, кажись, выстрелы, – стал прислушиваться Стрешнев.

– Я отправлюсь к своим стрельцам, – встревожился Матвеев.

– А я пойду узнаю, что в стане и в окопах, и донесу тебе, великий государь... как прикажешь? – спросил Стрешнев.

– Ступай.

Стрешнев вышел. Ночь была темна. Ветер шумел, снег большими хлопьями падал.

Выстрелы из орудий и из ружей раздавались во многих пунктах окопов; ясно было, что шведы сделали вылазку из крепости в нескольких местах.

Стрешнев сел на своего коня, стоявшего у царской ставки,

и с конюхом своим Федькой помчался по направлению ближайших выстрелов. Когда он примчался к окопам, он увидел зарево от зажженного неприятелем нашего лагеря, в котором ратники наши бились с ожесточением со шведскими латниками. Стрешнев бросился было рубиться со шведами, но вдруг ему пришла мысль: если шведы победят в этом месте, то меньше чем в полчаса они будут у ставки царя и погонят его или убьют.

Эта мысль ужаснула Стрешнева.

– Федька! – крикнул он конюху. – Скачи к Матвееву; пушай со всеми стрельцами идет к царю, а я помчусь к Урусову... да по дороге заверни к царской ставке и скажи Хитрову: пушай-де держится крепко у ставки, помощь-де будет.

С этими словами Стрешнев прищиприл коня и помчался на другой конец лагеря, где не было слышно выстрелов. Когда он прибыл к отряду Урусова, оказалось, что тот небольшую лишь часть отряда оставил на этом месте, а с остальной по первой же тревоге он бросился отстаивать наши редуты.

Стрешнев забрал остальную рать и повел ее к царской ставке. Подходя к ней, он увидел, при усиливающемся зареве в лагере, что они уже атакованы шведами.

Хитрово с небольшой частью царского полка дрался здесь отчаянно, и шведы готовы были их подавить своею многочисленностью, тем более что впереди их граф Деллагарди рубил наших налево и направо.

– Вперед, ребяташки, на выручку царя, с нами Богороди-

ца-воительница! – крикнул Стрешнев и ударил в тыл шведам.

Неприятель, не ожидавший нападения с этой стороны, немного смешался, но храбрый Деллагарди, оставив одного рыцаря сражаться с Хитрово, ударил на Стрешнева.

Оба противника сошлись, и оба сыпали удары друг другу: вдруг крик «ура!» раздался с третьей стороны – это Матвеев врубился со стрельцами в шведскую рать.

Шведы дрогнули и рассыпались, а Деллагарди прищпорил коня и стал отступать, призывая громко свою рать.

Русские начали на него сильно наступать и много положили на месте латников, Деллагарди же с небольшими остатками отступил за окопы наши в крепость.

Во всю ночь и почти до полудня 2 октября шла ожесточенная борьба со шведами, так как они пытались несколько раз врываться в наш лагерь.

Мы от них насилу отбились, и хотя много их пало, но и с нашей стороны потеря была велика; в особенности нам была чувствительна потеря жилых помещений и укладов, сожженных неприятелем; также уничтожено им много наших запасов и заклепано несколько орудий.

Многие же из наших укреплений взорваны ими на воздух. Дольше, таким образом, оставаться было невозможно, и царь, рассчитывая на то, что шведы слишком много потеряли людей и не могут его преследовать, велел собраться к отступлению; забрав все осадные орудия, лагерь и обоз, он от-

ступил к Полоцку и по дороге захватил Юрьев (Дерпт), где и оставил сильный гарнизон.

Матвеев, Хитрово и Стрешнев за подвиги их получили большие награды, и с того времени в особенности Богдан Хитрово сделался одним из самых близких людей к царю.

Не более месяца спустя царь отправил Матвеева под Вильно, так как там шли неуспешно переговоры наших послов с поляками о мире. Послы наши получили уполномочие приостановить в Литве военные действия с тем, чтобы нам разрешено было обратить оружие в Малороссию.

III

Ян Казимир и Мария Людовика

Что же делалось во время годового перемирия в Польше?

Она сбросила с себя ненавистное иго шведов. Ненавистным было оно потому, что Польша была преимущественно страна католическая, а шведы, или, лучше сказать, немецкие войска, пришедшие с Карлом X, были фанатичные протестанты: они грабили католические костелы, православные и униатские церкви, резали и вешали попов и ксендзов. Всеобщий энтузиазм овладел страной, и пример тому подал Ченстохов: патриоты там собрались, призвали к себе знаменитого воина Чарнецкого, и не более как через год шведы были изгнаны или перерезаны, а Краков и Варшава очутились вновь в руках Яна Казимира.

После того как Ян Казимир был разбит шведами, 16 сентября 1654 года под Страшовой Волей, он уехал было с женой в Малый Глогов, в Силезию, и жил почти изгнанником. Но польские патриоты, изгнав шведов, послали за ним депутатов, и тот возвратился в Краков с большим торжеством.

Месяц спустя после прибытия его туда в кабинет к нему вошла однажды утром жена его Мария Людовика. Это была женщина лет под тридцать, статная, высокая, с черными огненными глазами, типа более итальянского, чем француз-

ского, хотя она была из королевского французского дома.

Она была в первом браке за королем польским Владиславом, родным братом Яна Казимира, но, овдовев, она упростила папу разрешить ей выйти замуж за родного брата покойного ее мужа.

Впрочем, тогдашний папа был очень податлив: не надеясь когда-либо сесть на какой-либо престол, Ян Казимир за пять лет до вступления на престол брата своего, то есть в 1638 году, отправился путешествовать в Италию. Там прельстился он иезуитами, вступил в их орден и рукоположен даже папой в кардиналы.

Это кардинальство не мешало ему после смерти брата своего вступить 10 января 1644 года на польский престол и потом жениться на своей невестке.

К этому-то женатому иезуиту – кардиналу – королю вошла его жена и невестка.

Король, имея в это время лет за сорок, был однако же очень хил и, страдая подагрой, сидел в мягком кресле, а ноги его, укрытые шалью, покоились на мягкой скамеечке.

Войдя к нему, королева поцеловала его в лоб, опустилась на стул и, подняв набожно глаза к небу, произнесла восторженно:

– Благодаря Ченстоховской Божьей Матери, нашей заступнице, дела наши идут недурно. Москали сидят под Ригой... наши комиссары дурачат под Вильной князя Одоевского – они все поддерживают в нем надежду, что царь Алек-

сей Михайлович будет избран в короли... но это ведь невозможно: у поляков избирательное начало, и они никогда не согласятся на наследственное избрание. Притом царь не изменит своей вере и не признает папы, а без этого ему и не быть избранным: по этой самой причине и царь Иван Грозный не был избран сеймом.

– Это-то так, – заметил Ян Казимир, – но вести я получил из Москвы, что патриарх Никон исправил книги церковные и внес в постановление собора Сардикийского правило, что в случае разногласия на соборах обращаться к посредничеству папы. Этим и признано главенство папы. Исправил он также книги так, чтобы быть в единогласии с киевской церковью. Когда он сделал этот шаг, есть надежда, что он пойдет и дальше

– Говорят, – прервала его Мария Людвика, – что он основал Новый Иерусалим, а тайно говорит, что это новый Рим... и желает он сделаться в славянстве и на Востоке новым папою; притом говорят, что он очень светский человек, точь-в-точь кардиналы Ришелье и Мазарини, и что в случае прекращения мужского рода Романовых он готов даже жениться на сестре царя Алексея Татьяне, очень красивой и умной женщине. Но как патриарх – да женится?

– Я же кардинал, однако же это не мешало мне жениться, да и Мазарини был женат на Анне Австрийской. При вступлении кого-либо на престол церковь католическая все разрешает, ну и Никону собор разрешил бы.

– Но русские что скажут?

– Что бы они ни сказали, но согласишься, что, по их понятиям, престол не может не быть наследственным – вот почему они и все простят своему избраннику. Так они искали для царя Михаила невест в Швеции и Бранденбургии. Да и теперь они домогаются, чтобы царь их был избран в короли Польши. Но разве это возможно?

– Я-то стою за племянника своего, принца Энгиенского, но в том лишь случае, если племянница наша, дочь твоего брата Александра, будет отвергнута царем русским как невеста его сына. Но послать дочь нашу к этим варварам тоже невозможно. Охотно я бы усыновила царевича Алексея Алексеевича, да он теперь пока еще единственный у своего отца и русские не отпустят его к нам. К несчастью, Бог не дал нам детей: будь у нас сын – другое дело, мы бы его женили на одной из дочерей Алексея, и тогда, в случае прекращения мужского колена Романовых, он сел бы на оба престола: на польский и на русский. Скажи, когда брат твой, Владислав, был избран на русский престол, было ли обусловлено, что он должен принять православную веру?

– Видишь ли, дело было так: после низложения в Москве царя Василия Шуйского бояре решили избрать одного из трех: Михаила Романова, Василия Голицына или Владислава. Большинство стало на стороне Владислава, так как он хотя был еще юн, но был образован и мог бы быть не только польским, но и шведским королем. При подобном избра-

нии русские надеялись покончить вражду со шведами и поляками и возвеличить этим свое государство. Но отец мой был упрям. Вместо того чтобы отпустить сына в Москву, он сам надел на себя шапку Мономаха и, напав на Русь, осадил Смоленск и взял его, а Гонсевский потом сжег Москву. Это озлобило русских, и они избрали на престол Михаила Федоровича. Теперь, как ты видишь, мы расплачиваемся за грехи отца моего – русские, если бы не заключили с нами годового перемирия и не бросились бы на шведов, то едва ли мы сидели бы теперь в Кракове.

– Что же их вынудило оказать нам эту помощь?

– Трудность вести войну без моря. Шведы овладели приотце моем Ливониею и берегами Балтийского моря; теперь русские домогаются отнять у шведов Балтийское море, и это только и причиною, что они так уступчивы в отношении нас. Я надеюсь, что они скоро заключат с нами выгодный мир. Богдану Хмельницкому, хотя он присягал на подданство России, царь теперь не верит: тот сносится со шведским королем и списался с семиградским князем Рагоци, чтобы избрали его после моей смерти на польский престол.

– При таких обстоятельствах, – покачала задумчиво головой Мария Людвика, – сомнительно, чтобы русские заключили с нами скоро мир. Как только они увидят, что мы усиливаемся, они покончат со шведами и будут упорно с нами драться. А это для Польши разорение, да и кровь невинных льется без конца. Господи... Матерь Божья, нельзя ли найти

другого исхода?

– Королева, какой может быть тут исход?.. Единственное, что можно было предложить, – это соединение обоих государств: польского и русского. Здесь еще в отношении династическом можно было бы кое-как примириться с домом Романовых. Но общественный строй наш неодинаков: главное – так это разность религии, но тут патриарх Никон и наш примас сошлись бы; важнее же то: что сделаешь ты с нашим выборным правом в короли? Тут-то мы с русскими окончательно расходимся: они за наследственность, мы против нее, как же слиться?

– Нельзя ли и у нас установить наследственность престола?

– Видишь ли, двоюродный братец мой, шведский король Карл Одиннадцатый, когда овладел в прошлом году всею Польшею, так ему тотчас поляки заявили: собери сейм и объяви, чтобы тебя избрали, а он показал на свой меч и воскликнул: «Я Польшу завоевал и не нуждаюсь в избрании – меня мой меч провозгласит королем»... Что же? Поляки восстали и изгнали его из Польши. О наследственности же престола, если заикнуться, то обзовут нас изменниками и изгонят из Польши. Нужно покориться силе и обычаю: поляк без сеймика, сейма и посольской палаты не считает себя безопасным и счастливым, а русские обратно: без самодержавного царя они не видят возможности существовать.

– В таком случае...

– В таком случае нужно положиться на Бога и, придерживаясь правила «laissez faire», надеяться, что все, что ни делается, то воля Божья, и стараться помириться с русскими и жить с ними в ладу, пока оба народа не сблизятся и в своих верованиях и в понятиях. Тогда самое слияние сделается неизбежным во имя общих интересов и благополучия.

– Прав ты: против исторического хода народной жизни ничего не сделаешь, – вздохнула королева, поднялась с места и отправилась в свое отделение.

IV

Смерть Богдана Хмельницкого

В Чигирине, во дворце гетмана Богдана Хмельницкого сидят две женщины: одна в одежде инокини, другая – в малорусском платье, то есть в юбке, кофте, обложенной мехом, а на голове ее турецкий платок, на шее дорогие монисты, в ушах – бриллиантовые серьги. Малороссиянке лет под сорок, и она во всем блеске красоты: глаза блестящие черные, цвет лица свежий, но с загаром, черты лица тонки, брови густые.

Это жена гетмана – Анна, а собеседница ее – мама Натя, бывшая жена Никона.

Разговор идет на малороссийском языке:

– Ты видела, матушка, моего мужа – так говори, как по твоему разумению: не опасен ли он?

– Болезнь пана гетмана сильная, нужно тебе принять меры, чтобы сын твой Юрий был признан еще при жизни отца гетманом, потом это невозможно будет сделать... У гетмана столько врагов, а Юрий юн.

– Правду ты говоришь – ведь Юрию только шестнадцатый годок пошел. Писал недавно гетман с посланцем Коробкой к царю, что он сдал за старостью и за болезнью гетманство Юрию, за Радой полковников и всего войска, и умолял ца-

ря прислать в Киев святейшего Никона-патриарха, и тот бы митрополита на митрополию, а гетманского сына на гетманство поставил и благословил. Царь же о Никоне ни слова, а лишь отписал: «Вам бы, гетману, сыну своему приказать, чтобы он нам, великому государю, служил верой и правдой, как вы, гетман, служили; а мы, увидя его верную службу и в целости сохранныю присягу, станем держать его на милостивом жалованье».

– Слышала... слышала, как узнал о таком ответе миргородский полковник Грицко Лесницкий, он и стал прочить в гетманы войскового писаря Выговского.

– Да, а муж мой, как узнал об этом, так Лесницкого хотел казнить, Выговского же держал пригнетенного лицом к земле целый день, да я упросила отпустить и того и другого.

– Напрасно он это сделал, а Никона едва ли выпустят из Москвы; у царя теперь в милости Хитрово и Стрешнев, а те враги святейшего.

– Знаем это и мы и все войско, да когда бы Никон был здесь, все было бы иное; был бы он здесь и патриархом и главным над всеми; и тогда не нужно бы было быть нам под рукой (в подданстве) московского государя, и святой град Киев был бы, быть может, новым Римом, не только для нас, малоруссов, но и для других. Как в войске узнали, что царь не отпускает к нам Никона, – все плакали.

– А на Москве, – воскликнула инокиня с сверкающими глазами, – ругают его, называют еретиком, зачем-де испра-

вил книги и ввел единогласие в пении в церкви, как это и у вас. А за государевым делом он не имеет покоя ни днем ни ночью, недоест, недоспит, а от бояр одна честь — зависть одна подлая да и подкапываются под него. Взяли мы, говорят они, и Белоруссию, и Малороссию, и довольно... значит, больше он нам не нужен, теперь разделим меж собой добычу; а он не дает, говорит: все-де государское... и увидишь, гетманша, — не отпустят они его сюда, да и самого заточат.

— Крий³ Боже! — воскликнула с ужасом Анна. — Да чтоб такого умного извели! Уж Богдан, гетман, какой умный, аль Выговский... да и те говорят: куда нам до Никона. Такого человека и не было второго на свете. Да признаться, если бы не Никон, то Богдан не сдался бы царю, и, коли были у нас какие обиды от воевод, так Никон, как узнает, всегда просит прощения и взыщет. Без него же, увидишь, матушка инокиня, снова мы будем или с ляхами или с турками. Никон знал, кого карать, кого жаловать, умел ладить с людьми, а коли бояре начнут жить своим умом, то ладу не будет: вооружат они против царя и войско и народ.

Вошел в этот миг молодой человек, безбородый, но с мужественным лицом, хотя скромного вида: на нем был казакин, припоясанный серебряным кушаком, с боку которого висела драгоценная турецкая сабля. Поцеловав руку гетманше, он торопливо сказал:

— К нам, матушка, гости приехали... из Киева воевода Бу-

³ Сохрани.

турлин... Говорят, от царя. Он уж в лагере наказного атамана.

— А отец-то твой болен... Захочет ли он принять его и говорить с ним?

— Зайди к нему, матушка, ведь он, коли болен, так не любит, чтобы к нему заходили, кроме тебя.

— Идем к гетману вместе, послушаем, что он скажет.

Они прошли коридор и очутились в обширном зале, это была и приемная и столовая гетмана. Посредине этой огромной комнаты с большими окнами стояли дубовые столы, и по бокам виднелись дубовые скамьи. Стены столовой были украшены оружием, отнятым у неприятелей, знаменами, бунчуками, и здесь же виднелись головы лосей, оленей, кабанов и медведей, добытых Богданом на охоте.

Отсюда они вошли в другую комнату: это была рабочая гетмана.

Усталая дорогими коврами, она имела в углу у большого топчана небольшой стол, на котором стояла чернильница и лежали в порядке бумаги. Над топчаном висели хорошей немецкой работы масляными красками портреты — его и жены его. На противоположной стене виднелись портреты покойного приемного его сына, убитого в Румынии, и родного его сына Юрия.

В комнате этой они застали войскового писаря Выговского; он сидел на топчане в ожидании приказаний гетмана.

Поклонившись с сыном Выговскому, который поцеловал

им руки, они подошли к завешенной большим ковром двери, ведущей в опочивальню Богдана. Стоявший у двери казачок отдернул ковер и впустил туда Анну и ее сына.

Опочивальня Богдана была большая комната, уставленная мягкими топчанами; пол и стены были завешены и закрыты дорогими коврами.

В турецком халате, в малороссийской барашковой шапке гетман полулежал на топчане против икон. Ноги его были укрыты парчовым одеялом, а в изголовье у него виднелись подушки, покрытые наволочками из тонкого полотна.

Увидев входящих к нему жену и сына, гетман, видимо, обрадовался: страдальческое лицо его повеселело. Анна и сын ее поцеловали у него руку.

— Рад вас видеть, — закричал Богдан от боли в ногах, опухших от водянки. — Кажется, — продолжал он, — лисица Выговский ждет, чтобы я его позвал. Слышал я от людей, что отец его побратался с москалями...

— Бутурлин Федор Васильевич из Киева приехал, — перебила его Анна. — Значит, он вовсе не на стороне Выговского.

— Они уже успели прежде в Гоголеве повидаться с ним, но обманет их эта лисица. А Бутурлин сюда приехал знаешь зачем? Чует-де ворон падаль. Ох! Лышенько мне, конец настал Богдану: не ест, не пьет, а горше всего — горилка опротивела. Прежде, бывало, под-ока (бутылка) на снаданье да око на обед, а теперь и чарка противна. А человек коли не ест, значит смерть пришла.

– Не первина это, – утешала его жена, – и с Божьею помощью поправишься. Теперь, иначе, нужно подумать, как принять московских гостей.

– Принять! – закипятился Богдан. – Да лучше бы они прислали ко мне Никона. Приезжай сюда Никон, другое бы дело. мы бы с ним все вверх дном поставили: перенесли бы московскую столицу в Киев, завоевали бы Польшу, уничтожили бы и татарву и турецкого султана. Да и сын мой имел бы дядьку такого, какого на целом свете нет и не было. Гляди, ведь счастье же московскому царю – родился же у него, да из крестьянства, из черных-то людей, такой человек, а здесь коли кто умен, то плутоват и продажен как иуда, хотя бы вот и писарь наш войсковой – Выговский. А Никон как пес верен своему царю и не только ничего от него не берет, но всю церковную свою казну ему отдал; теперь, говорят, нечем ему даже достраивать свой Новый Иерусалим.

– Я еще лучшее слышала от инокини Наталии, – понизила голос Анна. – Она боится, что бояре низложат и заточат Никона, так как они перестали в нем нуждаться и он мешает им только грабить завоеванные им земли Белоруссии и занятую им Малороссию.

– Если это правда и если они заточат его – я примирюсь с татарами, и мы пойдем на Москву... дорого им будет это стоить – я разорю всю Великую Русь и сожгу Москву... Нет, пока жив Богдан, волос с головы святейшего патриарха не упадет. И если я согласился быть под высокой рукой русско-

го царя, так лишь потому, что царством правит этот великий разум, эта правдивая и честная душа. Что бы я дал, если бы возможно было его перетащить сюда!.. Я бы посадил его гетманствовать, а сам был бы у него простым наказным атаманом.

– Что же делать, коли царь не отпускает его теперь. Но вот гонец от наказного атамана Лесницкого прибыл из нашего Чигиринского лагеря, и он пишет, что Бутурлин уже у него, а это всего десять верст – нужно бы послать кого-нибудь к нему навстречу.

– Черта я ему послал бы, – вспыхнул Богдан. Потом, помолчав немного, он продолжал: – Покличьте писаря Выговского.

Сын его Юрий исполнил его приказание. Выговский Иван, войдя к гетману, низко ему поклонился, подошел к нему, поцеловал у него руку и остановился у двери.

– Иван, получен гонец наказного атамана; он пишет, что у него уже боярин Федор Васильевич Бутурлин. Возьми двести казаков, сына моего и есаула Ивана Ковалевского и поезжай к нему навстречу. Сын мой Юрий поклонится ему от меня и скажет, что я болен.

Посольство это тотчас уехало навстречу царскому послу и встретило его в пяти верстах от Чигирина.

– Не погневайтесь, – сказал Бутурлину Юрий, – что отец мой сам не выехал к вам навстречу: он очень болен.

– Очень жаль, что отец ваш болен, я к нему с великими

государевыми делами.

После того малороссы торжественно въехали с Бутурлиным в Чигирин при колокольном звоне.

На другой день Бутурлин отправился рано утром к гетману. Богдан принял его в своей опочивальне, и, когда тот заговорил было о предмете своего посольства, гетман отказался его слушать по причине болезни и просил отложить разговор до другого раза.

Бутурлин рассердился и хотел уехать, но Богдан объявил ему, что он примет это за прямой разрыв с царем. Это заставило Бутурлина и его свиту остаться обедать.

За обед сели: жена Богдана Анна, дочь Катерина, другая дочь – жена Данилы Выговского, писарь Иван Выговский и есаул Иван Ковалевский. Гетмана вынесли с кроватью в столовую, и он во время обеда лежал там, но в половине стола он велел налить себе кубок венгерского, встал и, поддерживаемый слугами, пил за здоровье царя и его семейства. Потом он провозгласил тост:

– За здоровье святейшего патриарха Никона, милостивого заступника и ходатая!

Неизвестно, понравилось ли последнее Бутурлину, но об этом официально донесено было в Москву.

Несколько дней спустя после этого Богдан пригласил к себе Бутурлина для выслушания государева дела.

Бутурлин, как видно из его донесения в Москву, говорил с Богданом даже не как с вассалом, а как с простым воеводою:

он упрекал его чуть ли не в измене и клятвопреступлении.

Богдан вспыхнул и обратно доказывал, что бояре при Виленском перемирии продали Малороссию ляхам; наконец он воскликнул:

– Когда еще мы не были у царского величества в подданстве, великому государю служили, крымского хана воевать московские украины не пускали девять лет... и теперь мы от царской высокой руки неотступны и идем воевать с неприятелями (крымским ханом) царского величия, хотя бы от нынешней моей болезни и смерть приключилась... для того и везем с собой гроб.

– Последнее правда, я в лагере наказного атамана видел десять тысяч ратников, готовых в поход против крымских татар, но сможешь ли ты, гетман, с ними выступить?

– Как Бог даст, а разорителем веры христианской я никогда не буду... были с нами в союзе и бусурманы – крымские татары, и меня слушали, бились за церкви Божии и за веру православную. Великому государю во всем воля: только мне диво, что бояре ему ничего доброго не советуют: короной польской еще не овладели и мира в совершение еще не привели, а уже с другим государством, со шведами, начали войну. Пришлось мне заключать союз со шведами, венграми, молдаванами и волохами; если бы я этого не сделал, то сделали бы это ляхи и нас всех в Малой Руси вырубili бы и выжгли.

Бутурлин тогда возразил, что по милости семиградско-

го князя Рагоци и шведского короля мы, русские, потеряли много городов в Польше. Потом он укорял его за резкую речь.

— Когда вам от неприятелей было тесно, — говорил Бутурлин, — так ты бы, гетман, с послами великого государя говаривал поласковее; а теперь ты говоришь с большими пыхами⁴, неведомо, по какой мере. Тебе самому памятно, как приходил я со многими ратными людьми тебе на помощь против поляков и крымских татар; в то время ты был очень низок (скромен) и к нам держал любовь большую. Носи платье разноцветное, а слово держи одинакое.

Потом он начал оправдывать войну нашу со шведами и заключил, что царь не изменяет ни своего расположения, ни милостей своих к нему, Богдану, и что все остальное поклеп.

— Я верный подданный царского величества, — возразил тогда гетман, — и никогда от его высокой руки не отлучусь. Царского величества милость и оборона нам памятны, а за то готовы мы также царскому величеству служить и голов своих не щадить. Только теперь дайте мне покой; подумавши обо всем, вам ответ учиним в другое время: теперь я страдаю от тяжкой болезни, не могу говорить.

После того Богдан велел тут же накрыть на стол и просить Бутурлина по-приятельски отобедать у него чем Бог послал. Жена и дочь его Катерина сели за стол и потчевали гостя. На другой день гетман послал писаря Ивана Выговского к

⁴ Собственное выражение Бутурлина.

Бутурлину извиниться, что по случаю болезни он резко говорил с ним о государевых делах.

Два дня спустя приехали к гетману шведские и венгерские послы.

Бутурлин встревожился и сделал запрос: что это значит?

В ответ на это гетман на другой день пригласил к себе русских послов и уверил их, что он ищет союза со шведами и венграми, чтобы уничтожить Польшу, и в заключение присоветовал:

— Теперь бы начатое дело с ляхами к концу привести, чтобы всеми великими потугами с обеих сторон ляхов бить, до конца искоренить и с другими государствами соединиться не дать; а мы знаем наверное, что словом ляхи великого государя на корону избрали, а делом никак не стало, как видно из грамоты их к султану, которую я отослал к царскому величеству.

Великую правду, сказанную гетманом, Бутурлин обошел молчанием, придирался только к мелочам и предъявил разные претензии, между прочим, чтобы сын гетмана, Юрий, присягнул России на подданство. На это Богдан справедливо возразил, что требования русских будут удовлетворены; что же касается сына его, то необходимо прежде, чтобы он, гетман, умер и чтобы войско поставило сына его в гетманы, и тогда, вероятнее всего, он и присягнет царю.

Это была последняя беседа Богдана с русским посольством: ежедневно ему становилось все хуже и хуже, и 27

июля, во вторник утром, он почувствовал себя так дурно, что пригласил духовника: исповедался, приобщился и собо-
ровался. После того ему сделалось как будто легче, и он ве-
лел вынести себя с кроватью на террасу, ведущую в сад. К по-
лудню он сделался тревожен.

– Что пишет из Москвы Тетеря? – спросил он жену.

– Мы от него писем еще не получили, – сказала она.

– Я его просил, чтобы он повидался с патриархом Нико-
ном и бил бы челом: не только я и войско, но теперь и все
наше духовенство молит его приехать сюда, поставить мит-
рополита... Господи! А он не едет... если выздоровею, я сам
поеду в Москву, я упрошу царя отпустить его сюда. Бояре с
ума спятили: чего они режутся со шведами под Ригой – им
бы ляхов добить.

Он замолчал, но заметался на постели и жаловался на
стеснение в груди и на то, что от лежания у него болит то
там, то сям. Жена его Анна, дочь Катерина и Юрий помогали
ему поворачиваться с боку на бок и подавали ему воду, так
как он жаловался на жажду.

Часа в четыре он заснул на несколько минут, но вдруг
проснулся и крикнул:

– Ганна, Катя, поглядите, Никон не приехал ли?.. Мне ка-
залось, точно он подъехал к крыльцу.

– Никто не приезжал, – ответила жена его.

– Никто? Так это был сон... сон... а я как будто его ви-
дел, он так кланялся мне, благословлял... да и Юрия... Где

Юрий?.. Где Катя?.. Где ты, Ганна?.. Я вас не вижу. Где мое войско?.. Разве оно пошло на татар? Да, пошло... пошло... слышишь?.. Да, я слышу – пушки палят, сабли стучат, кровь рекою. Села и города горят. Коня! Коня! Как же без коня? Коня! Наших бьют...

Он умолк и больше не говорил: к пяти часам великого человека не стало.

V

Первая размолвка Никона с царем

После свидания с Бутурлиным и крупного разговора с ним Богдан Хмельницкий отправил послом в Москву одного из приближенных своих, Павла Тетерю.

Прибыв в Москву, Тетеря насилу добился официального приема царем 4 августа. Царь принял его торжественно, и Павел Тетеря сказал витиеватую речь, очень длинную и составляющую набор фраз.

Вот ее начало:

«Егда благодарованную пресветлейшего вашего царского величества державу нынешними времяны над малороссийским племенем нашим утвержденну и укрепленну внутренними созираю очима, привожду себе в память реченное царствующим пророком» и так далее.

После этой речи, не откладывая в долгий ящик, бояре задали посланнику вопросы, относящиеся до утверждения воеводской системы управления Малороссиєю.

Оратор давал уклончивые ответы, а по политическим вопросам прямо сказал, что гетман постарается склонить к миру шведов и будет поддерживать в Польше домогательство царя, чтобы после смерти Яна Казимира избрали его в короли.

Этим переговоры посла ограничились с боярами, но вовсе не для этого приехал Павел Тетеря в Москву, у него была совершенно иная цель: он рассчитывал возвратиться в Киев с патриархом Никоном.

Но как это устроить?

Он отправился в Андреевский монастырь к Епифанию Славенецкому.

Ученый монах принял соотечественника своего радушно, угостил его варениками с гречневой кашей, пампушками с чесноком, гороховым супом, причем не была забыта и чарка.

После нескольких возлияний обе стороны сделались откровенны.

– Да ведь я, отец Епифаний, собственно, за вашим Никоном приехал, – молвил Тетеря.

– Напрасные разговоры, – махнул рукой Епифаний. – Бояре Никона из Москвы не выпустят, в особенности в Малороссию. Он теперь уже пишется: великий государь и патриарх Великой, Малой и Белой Руси. Так коли он поедет в Киев да засядет там, то будут два великих государя; один в Киеве, другой в Москве. Лучше, таким образом, держать его в Москве, так, знаешь, под рукою.

– И в плену? – подсказал Тетеря.

– Отгадали, земляк. Впрочем, проезжайте к патриарху и поговорите с ним. Быть может, он уговорит царя и бояр отпустить его в Киев. Болезнь Богдана, желание его, чтобы избрали сына его в гетманы, и необходимость поставить туда мит-

рополита – быть может, и заставят их склониться на просьбу малороссов.

– Когда же можно видеть патриарха?

– Поедем туда хоть тотчас.

– Едем на моих лошадях.

Они вышли, сели в коляску Тетери и помчались в Москву.

Патриарх, если он был только в своих палатах, всегда сидел в своей комнате за работой.

Епифаний без доклада повел к нему малороссийского посла.

После обычного в то время поклона до земли Епифаний и Тетеря подошли к патриаршему благословению, причем Епифаний представил Тетерю как посла от гетмана.

– Слышал я, почтенный посол, – начал Никон, – что тебя приняли очень ласково и с почетом у царя, и что от тебя потребовали объяснения о малороссийских неправдах... и воровствах.

– Я бы дал ответ – о неправдах воевод, а от нас не было ничего не по-божьему; мы теперь готовим на крымского хана большую рать и ждем только ваших бояр.

– Бояре Ромодановский и Шереметьев идут к вам.

– И с Божьей помощью, святейший патриарх. Но кабы ты смиловался на наше слезное моление и приехал в Киев, то поставил бы и нового митрополита и утвердил бы гетманского сына Юрия.

– Говорил я с царем, да он не пускает.

– Прежде гетман Богдан был немного нездоров, а теперь на смертном одре.

– Я этого не знал, почтенный посол. Нужно сообщить об этом царю – быть может, он и отпустит меня в Киев. Я тотчас же к нему поеду.

Патриарх благословил пришедших, и те вышли.

Никон только что начал одеваться, как появился у дверей строитель Нового Иерусалима, архимандрит Аарон.

– Что скажешь, отец архимандрит? – спросил Никон благосклонно.

– Был я, святейший патриарх, по твоему приказу во всех приказах, чтобы откуда-нибудь достать хотя несколько денег; у нас рабочие наняты, время летнее, камень, доски и иной лес подвозятся. Теперь ограда уже готова, башня тоже, церковь заложена, нужно бы подогнать стены до крыши, а тут денег ниоткуда. В приказах всюду один ответ: без царского указа серебра не выдадим – на войну нужно.

– Да ведь я-то расплачивался на приказные нужды своими деньгами, так пускай хоть часть возвратят... притом разве мой указ не одинаков с царским? Кто же осмелился это говорить?

– В дворцовом: Милославский и Морозовы, в других: бояре – Романов, Черкасские, Трубецкой и другие.

– Странно, – воскликнул патриарх, – прежде без моего указа не отпускали деньги, а теперь без царского. Прежде царь велел послушников моего указа судить, а теперь он ве-

лел моего указа не слушать... притом я не прошу их казны, прошу немного лишь, чтобы возвратили мое. Не могу же я в монастыре не кормить людей и не платить рабочим. Еду я сейчас к царю, а ты подожди.

Никон вышел и с большой свитой уехал к царским палатам. Было время обеденное, и царь принял его милостиво в своей комнате и велел принести обед, желая с ним разделить трапезу.

По обычаю за обедом о делах не было говорено, а по окончании трапезы и молитвы, когда со стола убрали, Никон обратился к царю:

– Слышал ты, великий государь, гетман Богдан при смерти, болен.

– Мне говорили, что он не так здоров, да это не впервые.

– Это так: но теперь Малороссия без митрополита, а там она будет и без гетмана.

– Того и другого они избирают, и это не наше дело, кого они посадят. Нам лишь бы они остались верны и лишь бы присягнули под нашу высокую руку.

– Не говори, великий государь! Важно нам, чтобы гетман и митрополит были бы нашими. Не так тебе докладывали; есть там много врагов наших: и Выговский писарь, и те, которые с ним, все это – враги наши. А Богдан и духовенство за нас. Было бы хорошо, великий государь, если бы ты отпустил меня в Киев: я бы там поставил им митрополита и настоял бы на избрании сына гетмана.

– Он еще молод, ему всего шестнадцать лет.

– Великий государь, и ты имел шестнадцать лет, когда вступил на царство.

– От того-то и смуты были в начале моего царствования.

– От того, великий государь, что ты не имел добрых советников... а Юрию ты можешь дать советников пожилых из их Рады и из бояр.

– Разве Борис Иванович, – вспыхнул царь, – и Илья Данилович не радели о государевом деле?.. А потому лишь, что я был юн, их и осуждали.

– Великий государь, не сказал я в укор боярам Морозовым и Милославскому, а так лишь – к слову. Малороссия не наша страна: меж полковниками и судьями есть люди с высоким разумом, люди ученые.

– Уж будто у нас все люди без ума, без знания, – обиделся вновь царь.

– Есть и у нас люди со знанием, но меньше, чем там, да не в этом дело, а то хотел я сказать, что к юному царю можно поставить целую думу или, по их выражению, Раду, которая заправлять будет всем государским делом.

– А мне бояре говорили: коли умрет Богдан, так пущай кого захотят избирают, а мы туда воевод своих по городам назначим.

– Воевод можно назначить, – заметил Никон. – Малороссы, иначе, к тому непривычны, и воеводы будут их обижать. Притом, – присовокупил он после некоторого молчания, –

нужно еще нам укрепить за собою, миром с Польшею, и Малороссию, и Белую Русь; потом мы должны держаться их порядков и обычаев.

– Бояре говорят иное: воеводство соединило-де всю Русь, начиная с удельных князей до Новгорода, Пскова, Казани и Астрахани; воеводство соединит нас и с Малою, и Белой Русью, и я стою за это.

– Великий государь, не смею ослушаться твоей воли, одно только скажу: введи в Малую Русь воеводство, да тогда лишь, когда со свейским королем и с Польшей будет мир. Так ты, великий государь, не отпустишь меня в Киев?

– Бояре бают, непригоже-де святейшему патриарху ехать в Киев ставить митрополита: пушай-де духовенство Малой Руси изберет кого хочет и сюда пришлет. Не нам-де кланяться им, а они должны нам поклониться в Москве.

– Великий государь, – сказал горячо Никон, – царьградские патриархи не раз приезжали в Киев ставить митрополитов и благословить паству. Отчего бы и мне не поехать благословить свою паству?

– Ты сам говоришь, до мира с Польшею мы не можем считать Малую Русь своею.

– Это правда, да дело церкви иное: это не зависит от мира.

– Да; но бояре бают: без утверждения царьградского патриарха ты-де не вправе присоединить к себе митрополию Киевскую: за это, по соборным уложениям, извержение из церкви.

– Это правда, когда присоединение насильственное, а не добровольное. Притом, коли царьградский патриарх стал бы жаловаться: пушай тогда разберет нас Вселенский собор, но не бояре – это не их дело. Рассудить двух патриархов может или собор патриарший, или же, по соборному уложению сардикийскому, папа.

– Разве ты, святейший патриарх, признаешь этого еретика за патриарха?

– Не могу не признать – отлучена не церковь римская и ее первосвященники, а отлучены и проклинаются еретики папы. Церковь, водворенная апостолами Петром и Павлом, не может быть отлучена, а отлучаем и проклинаем мы тех пап, которые не следуют Божественному Евангелию и Писанию святых апостолов теперь же у меня пока первенствующий патриарх аль папа – константинопольский.

– Пушай будет по-твоему, святейший патриарх, – уж больно ты научен во всякой мудрости... все же в Киев не пушу, – пушай митрополит едет сюда.

– Еще я по другому делу к тебе, великий государь. Был и ты при закладке Нового Иерусалима и обещал ты дать и волости, и села, пенязи, и начал я строить и обитель, и святая церковь Воскресения Христова. Тогда и бояре сделали много пожертвований. Потом... потом никто ничего не дал, видит Господь Бог: тащу и я и братия на себе и камень, и всякое дерево, усердствуем мы, да без казны ничего не сделаешь: нужно и хлеба купить, и того, и другого, и рабочих

рассчитать.

– Обещал я тебе, правда, да видишь сам, война, а денег в казне нет, а бояре бают, здесь хлеба нужно войскам, пороху, оружия, а тут патриарх затеял монастырь строить.

– Кесарю Кесарево и Божие Богови, – вспыхнул патриарх. – Строю я монастырь на свои деньги и прошу теперь не царскую аль боярскую казну, а свои собственные деньги: более десяти тысяч я дал из патриаршей казны, а тут такая обида: приказы говорят, указов-де моих не следует слушать – ты-де запретил, великий государь.

– Не запрещал я, а они указов и моих не слушают: серебряных денег совсем нет, а медных рублей бери сколько хочешь.

– Наделают бед, великий государь, эти медные рубли... говорил я, меня не слушали. Давал и снабжал я не медными рублями приказы, а серебряными... пушай дадут хоша немного: нужно обитель и церковь кончить.

– Ничего не могу дать – войну нужно вести.

– Великий государь, знаешь ты, что я был против осады Риги и стоял я за то, чтобы забрать новгородские прибрежные земли – Орешек и Кексгольм. На это было достаточно и Петра Потемкина с казаками. А бояре настояли в Вильне на годовое перемирие да на осаду Риги; это было на руку ляхам. В год они укрепились и вытеснили свейского короля из Польши; вытесняли и выбьют они и нас из Литвы. А коли мы не устроимся в Малой Руси, так будет нам очень трудно.

– Видишь, святейший патриарх, а ты говоришь, нужно-де строить монастырь.

– Великий государь, строил я обитель Новый Иерусалим так, что станет он оплотом и против врагов: и ляхов и татар, коли они придут.

– Разве ты опасаешься?

– Не опасаюсь, да все в воле Божией, прошу поэтому, дай мне средства исполнить обет мой и воздвигнуть святую обитель.

– Я тебе говорил уже, нет у меня средств.

Никон постоял в недоумении: в первый раз за время его святительства он получил отказ от царя, притом он считал свое дело совершенно правым.

– Как, – воскликнул он, – твоему царскому величеству жаль нескольких сот серебряных рублей и не жаль плеч моих... погляди, гноятся они от ран, при переноске камней... тебе жаль этих нескольких сот рублей, когда Хитрово и Стрешнев проигрывают тысячи в карты, аль бросают тысячи на псов и аргамаков... Что же?.. Значит, я последний здесь... указов моих не велено слушать... Собственную казну мою мне не возвращают... в Киев, где бы я мог собрать милостыню на Божий храм, меня не отпускают, – так я отряхаю прах моих ног... и даю слово: никогда не есть более в сей трапезной⁵...

⁵ Об этом первом отряхании праха своих ног в столовой в одном из своих писем царю говорит Никон, без пояснения причины этого отряхания. Но то, что в

– Святейший патриарх, благослови, – переконфуженно произнес государь.

– Господи благослови, – торопливо произнес патриарх и вышел.

После этого ухода Алексей Михайлович потребовал к себе Богдана Матвеевича Хитрово – этот был уже при нем окольничим.

Царь передал ему сущность ссоры своей с патриархом.

– Уж много ты, великий государь, воли-то дал ему... все ему не ладно, и глупы-де наши бояре, неучи, а он лишь один умница.

– Надоел он и мне, признаться тебе, Богдан, пуще редьки в пост... да ничего не поделаешь: патриарх он, и терпи... Патриарх, что отец, все едино... иной раз и от отца, бывало, терпишь обиды, да ничего: помолишься Богу и стерпишь... и Бог благословит за это.

– Да и поделать-то с ним что мудрено, и много бояр за ним... А уж народ – точно молится на него...

– Видишь, Богдан, коли б он да сам ушел: иное дело... тогда и Бог простит: сам-де не схотел, а принудить-де нельзя...

– Уйдет он... уйдет, великий государь, по своей воле... только ты не сердчай... увидишь...

– Лишь бы я в стороне, и его-то жаль... да ведь святитель... богомолец наш, – вот и грех пред Богом. Да, вот ска-

начале следующего года это было одной из причин неприглашения к обеду патриарха, когда приезжал грузинский царевич, – это очень вероятно.

жи: коли гетман Богдан умрет, что тогда делать?..

– Меня, великий государь, пошли туда, и без патриарха дела оборудуем... и без святейшего обойдемся, – изберут там и гетмана и митрополита, и будут они под твоей высокой рукой, а там мы воеводства учиним. Русская земля должна быть едина, что в Москве, что в Киеве... С патриархом, иначе, теперь рано ссориться: нужно дать ему несколько сот, чтоб умиловить; а коли я возвращусь из Киева, и все там устроится по его благословению, тогда мы уж, – позволь, великий государь, – и дело сладим к добру... отделаемся мы от святейшего.

– Делай, Богдан, как знаешь, а я в стороне.

– Будет он клясть меня и Стрешнева, а нам что? Лишь бы тебе служить. Теперь позволь идти к патриарху – все улажу...

– Ступай да только знай: коли царевны, сестрицы, узнают что-либо, они меня заплачут и покоя не дадут... выживут они меня из Москвы.

– О размолвке твоей с ним, великий государь, патриарх никому не расскажет, а я подавно болтать не стану... уж коли я возьмусь, я и дам ответ.

– Поезжай к патриарху и уладь все, а я пойду к деткам... да к царице... ждет она... и поглядишь, вновь дочь... я ее Софией нареку... дескать, пора царице поумнеть и дать сына... а то Алексей-то мой и хил и болезнен... Ну, пока ступай к патриарху, пушай не сердится и молится: да дарует нам

Господь Бог сына...

Хитрово поцеловал у царя руку и удалился.

«Пущай, – подумал после его ухода Алексей Михайлович, – патриарх молится, авось с его молитвой и сын родится. Сказывают, как женился царь Иван Третий на Софии Палеолог, не была она чадородною, вот и пошла на богомолье в Троицко-Сергиевскую лавру; на дороге у самой обители встретился ей ангел во образе инока, и на руках его был младенец; бросил он на нее младенца, а тот прямо во утробу, и родился у нее сын Василий, отец Ивана Грозного. Да уж не гневить теперь святейшего, а то через месяц не сын, а дочь родится».

Он набожно перекрестился.

VI

Малороссийская смута, или рокош

Страх и неизвестность, что будет, задержали погребение Богдана Хмельницкого почти на целый месяц; притом в Чигирине ждали, чтобы съехались туда, и печальная процессия, сопровождаемая тысячами верховых и пеших, двинулась в Субботово, где останки его погребены.

Многие из патриотов, несмотря на то, что Богдан своевольничал и не слушался Рады, вместе с погребением его тела как будто погребали и вольности и права Малороссии, которые так оберегал и защищал гетман.

И замечательно то, что его оплакивали обе партии: шляхетская, стоявшая под главенством Ивана Выговского, и народная, или черная, имевшая во главе своей полтавского полковника Мартына Пушкаря.

Два дня после этой печальной церемонии справлялись по покойнику поминки, и на третий день собралась Рада, но она состояла тогда из одних начальников войсковых, то есть из партии шляхетской, и, вопреки ожиданиям народа и даже самого Ивана Выговского, Рада вручила ему гетманскую булаву.

Но имя и воля Богдана были так сильны, что Выговский писал в Москву, что покойный Богдан сына своего и все вой-

ско запорожское ему в обереганье отдал, а теперь вся страна и чернь старшинство над войсками ему же вручили, и он царскому величеству верно служить будет.

Узнав о смерти Богдана, из Москвы тотчас отправили в Малороссию Матвеева.

Прибыв к Выговскому, Артамон Сергеевич потребовал, чтобы новый гетман отправил в Швецию посла – уговорить короля Карла примириться с нами.

Гетман исполнил требование Матвеева, и тот возвратился в Москву с уверениями в верноподданстве Выговского, так что царь отправил к нему даже стряпчего Рагозина с извещением о рождении царевны Софьи Алексеевны.

Немедленно же после отъезда Матвеева гетман собрал в Корсуне Раду.

Все же землевладельцы к тому времени были уж наэлектризованы двумя прокламациями миргородского полковника Лесницкого.

Прокламации говорили об уничтожении русскими прав малоруссов и о закрепощении народа.

Когда же в поле собралась вся Рада, то есть несколько тысяч человек, гетман явился туда, отдал им булаву и сказал:

– Не хочу быть у вас гетманом: царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу.

– За вольности, – отвечала Рада, – будем стоять все вместе.

Тут же она постановила: послать к царю бить челом, чтобы

все было по-старому.

Тогда Выговский воскликнул:

– Вы, полковники, должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал Хмельницкий.

– Неправда, – крикнул полковник Мартын Пушкарь, – все войско запорожское присягнуло великому государю. А ты чему присягал: сабле или пищали?

– Так что же, по-твоему, и это хорошо: хочет нам царь московский давать жалованье медными рублями... как их брать?

– Хотя бы, – возразил Пушкарь, – великий государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них будет великого государя имя, то и я рад его государево жалованье принимать.

– Ничего ты, пан полковник, не понимаешь, – рассердился гетман, – под царский квиток (расписку) дадут и миллион, а медные рубли не стоят более того, что медь.

Шумно сделалось после того на Раде: одни стояли за гетмана, другие – за Пушкаря, и стороны разъехались со взаимными проклятиями и угрозами.

Не испугался Выговский прокламаций Грицька Лесницкого, и, возвратясь в Чигирин, он созвал на Раду полковников.

– Ведомо нам, – сказал он, – что покойный Богдан назначил в поход против татар Грицька Лесницкого и дал ему булаву и бунчук наказного атамана, а теперь уехал он в Миргород, булавы и бунчука не возвращает и мутит чернь. Посы-

лал я к нему Юрия Хмельницкого, да и тому не отдал. Что делать?

— А то, — отвечали полковники, — что пойдем к нему с войском и силой отберем.

Взяли полковники несколько тысяч казаков, нагрянули на Лесницкого в Миргороде, отняли силой булаву и бунчук и в наказание заставили его кормить все войско несколько дней да и дать корм на обратный путь.

Но хуже всего было то, что запорожцы стали тоже волноваться, но в пользу лишь Москвы: они отправили туда послов бить челом, чтобы избрание в гетманы было совершено вновь.

В Москве назначили собраться Раде в Переяславле и отправлен туда Богдан Хитрово.

Собраться там Раде было для нас выгодно, князь Григорий Григорьевич Ромодановский стоял здесь с сильным войском.

Когда Хитрово приехал в Переяславль, его встретили как царского посла с большим почетом, и войска наши и малороссийские вышли к нему навстречу, а святители киевские встретили его с иконами и крестами.

Хитрово, подъехавший было верхом к встречающему его народу, сошел с лошади и, поклонившись святым иконам, объявил духовенству, что царь жалует его своим словом и предоставляет ему право избрать кого угодно, а патриарх Никон благословляет их на это. Полковникам и радным лю-

дям Малороссии он объявил, что царь не стесняет их в выборе, и, кого они излюбят, тот будет излюблен и царю; и что он приехал лишь для того, чтобы видеть их свободное избрание.

Восторженное духовенство тотчас уехало в Киев и избрало в митрополиты архимандрита Киево-печерского Дионисия Балабана.

Осталось избрание гетмана. Ожидали прибытия на Раду полковника Пушкаря из Полтавы, но он медлил.

Тогда разнеслись слухи, что Пушкарь идет в Переяславль с войском, чтобы принудить Раду не избирать Выговского.

Хитрово испугался и решился ускорить избрание; не желая внести в Раду междоусобицу, он назначил день сбора.

На соборной площади собрались все наши войска, и в середину их без оружия были впущены все радные люди. Там стоял стол с Евангелием, иконой и крестом, священник во всем облачении находился у стола в ожидании, кого изберут.

На столе лежала булава гетманская, вперед возвращенная Выговским.

Когда все собрались, появился Хитрово; он объявил, чтобы все войско выбирало себе гетмана кого хочет, по своей воле.

Все единогласно крикнули:

– Желаем Ивана Выговского, он люб нам всем.

Тогда Хитрово подошел к столу, взял булаву и передал ее Выговскому.

Но Выговский возвратил ее назад Хитрово и громко произнес:

– Не хочу я гетманства, многие люди в черни говорят, будто я на гетманство сам захотел и будто выбрали меня друзья.

Обозный, судья, полковники и вся чернь стали его упрашивать и наконец умолили его.

Он принял тогда булаву и присягнул в верности царю – последнее, конечно, произошло без помех, потому что князь Ромодановский стоял здесь с внушительными силами.

Не успела кончиться церемония избрания и присяги, как явился от Пушкаря гонец из Полтавы. Он уведомлял Хитрово, что он и его единомышленники просят назначить Раду в Лубнах.

Хитрово дал ему ответ, что выборы уже состоялись.

Несколько дней потом шли пиршества: то русские угощали малороссов, то они – наших.

Казалось, что установился вечный мир и согласие, но на одном из пиршеств Хитрово замолвил гетману о том, что необходимо-де в Малороссии устроить воеводства. Это огорошило Выговского, и он ответил, что он поедет в Москву повидать светлые царские очи и тогда поговорить можно будет и о воеводстве.

Ответ этот совершенно удовлетворил Хитрово, и он выехал обратно в Москву, где и уверил царя, что и без Нико-на он устроил дела малороссийские: митрополит-де избран и новый гетман присягал царю.

Враги Никона успели раздуть услугу Хитрово так, что царь осыпал своего любимца милостями, и с того времени Хитрово сделался главным советником и докладчиком царя.

Между тем как дела Хитрово имели такой успех в Москве, гетман Выговский резался в Малороссии с полковником Пушкарем. Последний по этому поводу прислал послов просить приезда в Киев царя и Никона; митрополит же Киевский предал Пушкаря анафеме, а Выговский собирался изменить царю и передаться вновь Польше.

Сумятица и чепуха сделалась невообразимая, и русские поплатились бы очень дорого, если бы Шереметьев в Киеве не отстоял русского дела.

Дела под Ригой шли тоже неудачно: моровая язва посетила этот город, и жертвой ее сделался знаменитый шведский генерал Магнус Деллагарди и все наши города, прилегающие к Ливонии. Мы не должны были чрез язву прекратить военные действия. Никон из себя выходил. Он видел, что все планы его рушились по милости бояр: множество народу и денег погибло, и от нас не только ускользнула Литва, но и Белоруссия была на волоске, а Малороссию пришлось брать вновь с оружием в руках.

Медные же рубли совершенно нас разорили: явилась масса подделывателей на окраинах и в самой Москве.

Никон громко жаловался на эти беспорядки и в особенности осуждал погоню за польской короной, что он считал химерой.

– Доиграемся, – говорил он, – что в одно прекрасное утро явятся в Москву и ляхи, и шведы, и татары, и казаки.

Его враги передавали речи эти царю, и тот охладел к нему, и зимой 1657 на 1658 год они уже виделись с патриархом только в Успенском соборе и в Боярской думе. По государственным же делам доклады производили: по внешним – Матвеев, по внутренним – Хитрово.

Морозов Борис Иванович был в это время сильно занят изменой своей жены и судом над англичанином Барнсли; а Илья Данилович Милославский со второй своей женой, Аксиньей Ивановной, – имел тоже много горя, и поэтому оба охотно уступили государственные дела Хитрово и Матвееву.

VII

Немилость терема к Никону

Анна Петровна Хитрово встала в отличном расположении духа; с вечера легла она спать, и при этом дурка Дунька чесала ей подошвы и рассказывала приятные сказки, ласкающие слух. И заснула она так сладостно... Снился ей поэтому отличный сон: состоит она у царицы первой боярыней, и глядят ей все в глаза, ищут ее милостивого слова, а она только выступает гордо, павой, и еле-еле кивает в ответ головой.

– И за что мне такая милость? – спрашивает она.

– Оттого, – отвечает толпа боярынь, – что умом-то тебя Господь не обидел.

Откуда ни возьмись и архимандрит Павел тут как тут – руки у нее целует и говорит.

– Уж ты, моя благодетельница, не покидай меня... ви-дишь, и тебе и царице я всякое угодное творю, а уж вы-то Крутицкого митрополита – в новгородские, а меня – в кру-тицкие...

– Беспременно будешь, – только ты вымоли у Бога-то сына царице... помнишь ты царицу Софью и инока.

– Как же то не помнить, уж как буду молить, поститься со-рок дней буду, сегодня же начну: елей и рыбу лишь в празд-ники.

При этом проснулась Анна Петровна и очень приятно сделалось ей на душе, обещался святитель, что у царицы будет сын, а это все тогдашнее ее желание, — бояре-де бают: коли не родит сына, нужен развод, пока царь-де еще не стар. Ну-жен-де сын непременно, во что бы то ни стало, а святитель Павел так сладко говорил с нею во сне, что и она даже сама разохотилась на сына.

— Беспременно будешь митрополитом, — повторяет она наяву тоже самое, что говорила ему во сне. — Эй! Акулька...

Является барская-боярыня; кланяется она низко и подходит уж к ручке барыни.

— Который час?

— Восьмой.

— Как восьмой? Зачем не будила?

— Заходила, кашляла.

— Так заутреня отошла?

— Отошла, боярыня.

— Ах ты, мерзкая...

Две звонкие оплеухи оглушают опочивальню.

— А архимандрит здесь?

— Здесь.

— Давно ждет? Говори, мерзкая.

— Давно.

Новые две оплеухи звенят, и платок летит с головы барской-боярыни.

Акулька подбирает платок и надевает его на голову с та-

ким видом, как будто это дело привычное и обычное.

– Умыться и одеваться скорей! – вопит боярыня.

Барская-боярыня начинает метаться, зовет постельничью, сенных девушек, все суетятся, а дело как-то подвигается медленно: то вода слишком холодна, то слишком тепла, то мыло не так мылит, и слышны звонкие оплеухи, то из прелестных ручек барыни, то из жилистых рук барской-боярыни.

Кончилось умыванье, началось натиранье. То слишком много набелили, то слишком мало; с румянами то же самое. А с бровями – горе одно: то наведут в палец ширины, то сузят. А там пошло одеванье. Начали с головы – украсили по случаю зимы каптурой, которую носили преимущественно вдовы. Потом надели на нее верхние два платья темного цвета, но отделанные кружевами, а рукава были вышиты шелками и серебром.

Анна Петровна имела более сорока лет, но, принарядившись и подштукатурившись, она поспорила бы с молодой, так как имела прекрасные черные глаза, а на зубы тогда не обращали внимания, потому что мода требовала окраску зубов в коричневый цвет.

Приняв вид святости, боярыня в сопровождении всего штата прислуги тронулась в крестовую комнату, то есть модельню.

Архимандрит Павел, красивый, чернобородый и черноглазый монах, с белыми женскими руками, встретил ее с бла-

гословением и просфорой, так как он успел уж отслужить у себя в Чудовском монастыре обедню, но был он в епитрахили, чтобы отслужить молебен за здоровье царицы и хозяйки дома.

Анна Петровна благодарила его за внимание, и тот начал службу.

В те времени каждый не только боярский, но и зажиточный дом был тот же монастырь.

Тотчас по вступлении своем на престол царь Алексей Михайлович после неудачного обручения своего с Евфимией Всеволожской получил отвращение к музыке, пляске, светскому пению и ко всяким играм; все это было формально запрещено, и господствовавшая при царе Михаиле Федоровиче потешная палата с органами, домрами, цимбалами заменена каликами переходными и обращена в приют нищих. Прежние бахари, гусельники, потешники, домрачеи, шуты-скоморохи исчезли, и во дворце можно было слушать лишь духовные песни. Царю подражало боярство, и каждый дом представлял собой собрание калик, монахов, монахинь; все это дисциплинировалось Домостроем знаменитого Сильвестра и имело наружный вид обители.

Вследствие этого терем, в котором господствовал женский пол, получил вид женского монастыря, и женщины, казалось, совершенно изолировались от света и мира; даже в церкви они стояли под покрывалами с левой стороны и скрывались от мужчин особым занавесом.

Без покрывала женщина являлась только пред мужем или когда хотела чествовать особенно дорогого гостя; одни лишь вдовы имели право принимать без покрывала. Но вся эта изолированность была кажущаяся. Терем имел между собой тесную связь и составлял нечто цельное, правильно организованное и, можно сказать без преувеличения, управлявшее целым государством. Все терема имели между собой связь и группировались у лиц женского пола, бывших близкими к царице. Поэтому что затевалось в теремах, то получало отголосок и в царской палате, и в Боярской думе. Действовал здесь терем или чрез мужей, или чрез духовенство.

Белое духовенство в этот период достигло высшего могущества в государстве: каждый дом имел своего духовного отца, который владел умами и хозяина и хозяйки; и обратно — терем был силен, потому что в его распоряжении было все белое духовенство; независимо от этого каждый боярский и зажиточный дом, имея вид монастыря, был тесно связан с монастырями и, одаривая их, он имел в ополчении своем всех, начиная иноками и кончая патриархом.

Заняв такую позицию, в особенности при исключительном праве проникать даже в терем, духовенство стало само понимать, что красота, чистоплотность и тонкость обращения должны быть его принадлежностью, и тогда-то начали цениться и приятный голос, и красота рук и лица святителей — так как все это вело и к карьере и к обогащению.

Архимандрит Павел понял это тоже и, обладая замеча-

тельной красотой, он на первых же порах после своего пострижения сразу занял важный пост в Чудовском монастыре.

И теперешний его приезд к Анне Петровне был не бесцелен: ему передал Стрешнев, что царица так чтит Анну Петровну, что просила государя назначить ее к приезду ко двору первой боярыней.

Пост этот был так высок, что за обедом и во всех торжественных выходах она после царевен должна была занимать первое место.

Отслужив поэтому молебен, архимандрит Павел поздравил ее с царской милостью.

– Ты, отец архимандрит, просто пророк! – воскликнула удивленно Анна Петровна. – Ты знаешь больше, чем я сама. К тому же удивительный сон снился мне сегодня: снится мне, что возвеличена я царицей... Да и ты приснился... Вот сон и в руку. Да откуда ты узнал – я-то и сама не знаю.

– Стрешнев сказывал.

– А! Спасибо, добрый вестник... Теперь пойдем, благовослови трапезу, коли обедня отошла... – Она повела его в столовую.

Весь завтрак состоял из вареных и жареных рыб, пирогов и тому подобного, и все было хотя постное, но прекрасно приготовленное и роскошно обставленное.

Водка, романья и венгерское не были забыты.

Отец Павел скромно ел и скромно пил, оставляя остальной аппетит для Стрешнева, который пригласил его на свой

обед к двенадцати часам.

После обеда, помолившись набожно, хозяйка отпустила всех присутствовавших на трапезе и пригласила архимандрита в комнату, то есть в ее рабочую, для душеспасительной и тайной беседы.

В подобных случаях никто уж не смел заглянуть туда, разве хозяйка сама потребует.

Рабочая комната боярыни благоухала духами, и все призывало более к неге, чем к труду: топчаны, мягкие ковры, скамеечки для ног, кушетки и мягкие стулья так и приглашали понежиться. Правда, в нескольких местах виднелись пальцы с начатой работой: вышитые ширинки, церковные принадлежности, начиная с икон... Но это было скорее украшение, чем орудие труда.

По обычаю, гость должен был все это смотреть и похвалить хозяйку за искусство, прилежание и усердие к церкви.

После того хозяйка, усевшись и выставив, как бы нечаянно, свою ножку, обутую в бархатный башмачок, украшенный жемчугом, пригласила отца архимандрита сесть.

– А терем, – сказала она, – недоволен патриархом Никоном.

– Почему?

– Как же быть-то им довольным... Никакого уважения к царским сродственникам: знаешь, жена Глеба Ивановича Морозова, боярыня Федосья Прокофьевна да родная сестра ее Евдокия Урусова уж как просили за протопопа Аввакума,

а тот его в ссылке держит... А ведь того не знает патриарх, что сам-то Борис Иванович иначе не говорит невестке, как приди, друг ты мой духовный... Пойди ты, радость моя душевна.

– Ахти! Какие страсти, – удивился отец Павел.

– Вот ты пойди с ним... А за что? Зачем, дескать, Аввакум двуперстно крестится... Зачем-де написал «слово плачевно» и ответ на «крестоборную ересь». А сам-то клобук-то надел двурогий, точно у греков... Вместо «Микола» исправил в требнике «Николай»... А иконы велит в Оружейной будто живые писать.

– Ахти, какие страсти! – воскликнул вновь отец Павел, забыв, что он сам говорил в Пудовом монастыре проповеди в уличении раскола.

– Вот видишь, и тебя это дивует... А уж о попах и не подходи к нему... Скажет ему аль боярыня, аль иная особа: уж ты смилуйся, святейший, дай местечко моему духовнику... а он: «Нет у меня мест для кукол... он, матушка боярыня, не токмо службы не знает, да и читать-то не умеет...» Да и отметит у себя, а там, гляди, духовника подальше от Москвы, да в дальнюю деревню... И плач, и рыдание, и недовольство всякое... Не то что при Иосифе: коли боярыня придет к нему, тот всякие угождения учинит и не откажет.

– Тот был патриарх как патриарх! – воскликнул одобрительно отец архимандрит.

– Да и в царском-то тереме Никону нет уже веры... Мо-

лился он... молился, да дарует Господь Бог царице сына... ан у нее дочь родилась, а царь и назови ее Софьею, тоись премудрость; значит, поумней, царица, и роди сына.

– Не усердствовал в молитве, значит, – подсказал ей архимандрат.

– Какое там усердие... Вот, как пошла Софья царица в Сергиевскую-то обитель да поусердствовала, так и сын родился... отец Иоанна Грозного.

– Пушай и царица поусердствует.

– Поусердствует-то она, да вот что... Нужно усердного богомольца... а в Никона веры нет, все-де дочери нарождаются... Правда, с его благословения Алексей Алексеевич родился... да ведь не ровен час... Нужен, значит, еще сын.

– Это можно, только поусерднее молиться... Сорок дней поститься... а там молебен... да потом накрыть епитрахилем... да прочитат молитву.

– Праздничный сон до обеда в руку, – бают люди, – ведь снилось мне, что ты то ж самое говоришь мне и во сне, святой отец, уж ты поусердствуй да молись.

– Приготовлюсь я постом и молитвой, – поднял отец Павел набожно глаза к небу, – с сегодняшнего же дня.

Отец Павел простился с хозяйкой и вышел, сопровождаемый ее благодарностями.

VIII

Триумвират

У Стрешнева сидят Алмаз Иванов и Богдан Матвеевич Хитрово.

Они сильно озабочены. Достигли они того, что к Никону новые дела государевы не поступают, а к нему обращаются только по тем, которые начаты им, и больше для разъяснений, нежели для решения. Явно идет упразднение его государственной деятельности. Патриарха Никона это нисколько не печалит — у него слишком много дум и забот по делам патриаршим и по печатному делу. Но в правительстве чувствуется его отсутствие: нет того решительного голоса, который руководил всем, которого слушались все безусловно и который приводил все к единству стремлений и действий. Приказы начали действовать врознь, и сила и власть их стали определяться степенью влиятельности и силы боярина, который заправлял ими. В провинции степень власти и значение воеводы стали определяться тем же самым. Очевидно, что одних приказов воеводы слушали, других — нет. Испытали это на первых же порах люди, устранившие Никона, да с этим они еще мирились. Но было зло еще худшее: церковь была в то время одним из самых крупных собственников, выстав- ляла она поэтому много ратных людей и давала много сбо-

ров на военные надобности, и при Никоне все шло в порядке, так как монастыри и церкви не смели ослушиваться его распоряжений; а когда заговорили с ними непосредственно приказы, они стали отвиливать, ссылались на разные льготы, привилегии.

Самое же главное было то, что перестали чувствовать-ся система и единство действий. Как думного дьяка, начали беспокоивать Алмаза Иванова и Хитрово; последний в особенности не знал зачастую, что и как докладывать царю.

Собрались они теперь поэтому к Стрешневу, чтобы по-толковать между собою: как быть? на чем остановиться?

– Что же, – сказал Стрешнев, – коли вы без попа Берендя не можете жить, целуйтесь с ним.

– Ты все в шутку обращаешь, Родивон, – заметил Алмаз, – а здесь так: аль Никона нужно слушаться, аль он должен уйти из патриаршества. Без головы патриарха мы бессильны в Боярской думе и в других делах. Куда ни кинь, везде клин: везде, гляди, аль церковь, аль монастырь замешан. Вот и от-правляй дело в монастырский приказ, а тот без патриаршего благословения ничего не делает.

– Сделай так: пушай Никон оставит сам патриаршество.

– Да как же это сделать? – заметил Хитрово. – Я и сам говорил об этом царскому величеству, да сделать-то это не так легко.

– Вот я начну, а там ты доканчивай... Кстати пожаловал к нам и отец Павел.

Вошел отец архимандрит, триумвират встретил его радостно.

– Я только что от тетушки твоей, – обратился он к Хитрову.

– А? – расхохотался Богдан Матвеевич. – Насчет... понимаю... она у меня умница, она хочет тебя – в митрополиты... держись ее и будешь – ведь она теперь первая боярыня. А терем, известно, и в патриархи возводил.

– Уж, боярин, не откажись замолвить словечко царю, коли освободится митрополичья кафедра.

– Скоро, скоро освободится – пушай Никон лишь уйдет.

– А вот и гости приехали – воскликнул Стрешнев.

Сразу подкатило множество саней; это была вся почти знатная московская молодежь.

Дворецкий Стрешнева, высокий, широкоплечий боярский сын, в обшитом галунами армяке принимал на крыльце гостей и вводил их в хоромы.

Стрешнев с друзьями своими перешел в переднюю и там принимал приезжающих.

Молодежь шумно повела беседу о городских сплетнях: все вращалось на лошадях, попойках, выигрышах и проигрышах, охотах и травлях, так как с запрещением публичного пения, игрищ и зрелищ молодежь бросилась в разные другие потехи...

IX

Кровная обида

Сплетни, кляузы и доходившие ежедневно до Никона слухи о волнении в народе по поводу исправленных им книг и икон, волнения в Соловках и Макарьевско-Унженском монастыре сильно тревожили и огорчали его.

Искал он поэтому уединения и еженедельно дня на два уезжал в свой Новый Иерусалим. Были уже воздвигнуты у него и стены и часть монастыря, но сооружение главного храма шло медленно.

Как только приедет туда патриарх, он тотчас разоблачается и вместе с монахами, которых насчитывали до тысячи человек, работает то каменщиком, то плотником, то столяром, и спорится как-то у всех работа, и, точно муравьи в своем гнезде, копошится этот люд, руководимый своим великим подвижником.

И гляди, несмотря на скудость средств, поставлена вокруг монастыря ограда в четыре с половиной сажени в высоту с амбразурами и навесными бойницами для того, чтобы отбиваться от врага, коли он пожалует: стена имеет вид шестиугольника с восемью башнями.

Вокруг ограды разведена широкая аллея, и с ее сторон имеются обрывы, поросшие лесом.

Внизу с северной стороны виднеются две часовни с колодцами: первая названа колодцем Самарянки, вторая Силоамская купель.

С западной стороны от аллеи лестница, ведущая в другую аллею, идущую к никоновскому скиту.

Так как Никон имел при рождении имя Никиты Столпника, то он построил себе скит в виде башни. Это узкое каменное трехъярусное здание. В первом этаже имеется место для церкви (уж не во имя ли Никиты хотел он ее сделать?), комната для служителей, кухня и маленькая келья. Во втором этаже — трапезная с окном в стене, в которое подавали пищу из кухни. В этом же этаже две кельи для служащих. Из трапезной ведет узкая винтообразная лестница в третий ярус. Этот этаж занят печами: хлебной и просфорной, а влево виднеется келья, за нею приемная патриарха и рядом другая келья. В келье этой висел портрет патриарха; рядом с нею крошечная церковь Богоявления Господня.

На плоской крыше скита, имеющей перила, находилась летняя келья патриарха; каменное ложе этой кельи было скорее скамьею, так как оно имело всего полтора аршина, а настилка на ней была тростниковая.

Против кельи на крыше маленькая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла и позади нее стол с одним колоколом.

В этой-то башне поселялся Никон, когда приезжал в монастырь, и отсюда он отправлялся на работу, которая шла

неустанно весь день с небольшими перерывами для отдыха.

Затеи же Никона были грандиозны: строился кроме обширного монастыря на тысячу человек и кроме храма Воскресения еще и зимний храм во имя Рождества Христова.

При скудных средствах Никона работа еще шла довольно успешно; правда, нужно отдать справедливость царевне Татьяна Михайловне: кроме того, что она перенесла в Новый Иерусалим нетленную руку святой Татьяны, но она присылала патриарху и деньги, и хлеб, и утварь.

Летом 1658 года в этом же ските ночевал Никон. Еще до света он проснулся, умылся, помолился и на крыше скита любовался восходом солнца и окружающими его видами.

«Вот мой Иордан, – подумал он, глядя на извивающуюся вдали реку Истру, – и вот этот ручей, обтекающий с трех сторон монастырь, поток Кедронской, а вот и Иосафатова долина... а это сад Гефсиманский... а вон в саду мой дуб Мамврийский».

Он любовно осмотрел вновь всю окрестность и по узкой лесенке спустился в третий этаж, а потом – в трапезную. Здесь он застал послушника: тот пал ниц перед патриархом. Никон благословил его и сел к деревянному столу.

Послушник взял у стоявшего по ту сторону окна монаха деревянную миску щей, деревянную ложку, кусок черного хлеба и поставил все это перед патриархом. Никон помолился, съев полмиски, снова помолился, поблагодарил послушника и спустился вниз. Там ждал его архимандрит Аарон,

строитель монастыря.

Это был небольшого роста худощавый монах с острым носом и чрезвычайно умными глазами.

Благословив Аарона, Никон обратился к нему:

– Я слышал ночью шум и стук колос – уж не привезли ли нам материала?

– Прислала царица Татьяна Михайловна и камня и лесу.

– Да благословит ее Господь Бог, значит, у нас работа по-двинется... Пойдем, Аарон, и я сегодня помогу братии.

– О святейший патриарх, уж ты бы не трудился, и без тебя здесь много рабочих.

– Чего жалеть свою плоть, – усмехнулся Никон. – Не жалею я своего тела, лишь бы свершить Божье дело... Мы строим здесь не на один день, а будут стекаться сюда тысячи и будут благословлять наш труд, и вспомнят потомки и мое и твое имя, Аарон, как строителей сей обители и храма.

Они пошли по аллее, потом по лестнице и забрались в другую, ведущую вокруг церковной ограды.

Никон осматривал по дороге каждое дерево, как бы ведя с своими питомцами беседу; когда же они вошли в монастырские ворота, все, не останавливаясь, только снимали свои шапки.

Они пошли в мастерские: в столярной и слесарной работа шла оживленно для украшения и сооружения монастыря и храмов; имелась даже иконописная мастерская, где под наблюдением и руководством самого Никона приготавливались

иконы. Существовали еще мастерские для удовлетворения монастырской братии обувью и одеждою. Повсюду был образцовый порядок и шла оживленная работа. Везде патриарх делал замечания, наставлял, указывал и учил. Несколько часов шел это осмотр; потом Никон вышел на работы по сооружению храма. Здесь он сбросил рясу и взялся совместно с другими тащить на носилках камень на леса.

Несколько часов проработавши так, он по обеденному звону колокола оставил работу, накинул на себя рясу и побрел в свой скит для трапезы.

С ним был и архимандрит Аарон. Забравшись в ските во второй этаж в трапезную, они уселись за деревянный стол, и подано им послушником чрез окно по миске щей, по миске гречневой каши да по два жареных лещика при зеленых огурцах, а на питье поставлено по кружке квасу и пива.

После этого скромного обеда собеседники разошлись. Архимандрит ушел к себе в монастырь, а патриарх забрался на верх крыши в свою келью, где он присел отдохнуть.

Свежий воздух, утомление и спокойствие в этом уединении подействовали на него благотворно, и он сидя заснул.

Снится ему странный сон: он окружен какими-то гадами, змеями, пиявками; все это ползет к нему, хочет вцепиться в него; он душит и давит их тысячами, но те являются еще в большем количестве, впиваются в его тело... он наконец начинает изнемогать... он чувствует, что они одолеют его...

Он просыпается, пред ним стоит послушник.

– Святейший патриарх, – говорит он, – из Москвы из Чудова монастыря архимандрит Павел...

– Павел?., а!., хорошо... проси его в приемную.

Патриарх оправляется и спускается в приемную.

При его появлении отец Павел распростерся, потом подошел к его благословению.

– Уж не пожаловал ли ты сюда посмотреть мое хозяйство? – спросил благосклонно Никон.

– Нет, святейший патриарх, за недосугом – в иной раз... а я вот с патриаршим делом.

И при этом он подробно рассказал, как при собрании детей именитейших бояр Стрешнев заставил собаку подражать, как патриарх молится и благословляет народ.

– И ты можешь это подтвердить под пыткой?..

– Как и где угодно. Да вот моя грамотка за моим рукоприкладством, да и список всех присутствовавших при этом.

Дрожащими от гнева руками Никон взял из рук его бумагу, прочитал ее и обратился к нему:

– Возвращайся тотчас в Москву и вели благовестить в Успенском соборе... я поспею к вечерне... а на завтра вели из патриарших палат дать знать во дворец и боярам: будет-де завтра, в воскресенье, патриаршее служение соборне...

Отец Павел простился и тотчас возвратился обратно в Москву.

Гнев Никона не имел границы и меры.

– Эти издевки неспроста, – говорил он сам с собою, – кабы

это было кем-нибудь иным, сказал бы: безумен он, не веда-ет, что творит... А то Стрешнев? Царский сродственник... да при ком?... При детях и сродственниках бояр и царско-го дома... Смолчать нельзя... опозорено не только патриар-шество, да и все духовенство... все святители... опозорена церковь... Я должен снять позор... дерзкого я должен нака-зать... и накажу... всенародно покараю...

Он ударил в ладоши, явился послушник.

– Лошадей... в Москву... сейчас...

Послушник побежал исполнить приказание Никона.

Патриарх поспешно умылся, оделся и спустился из своего скита в аллею, шедшую мимо ограды.

Его коляска и небольшой штат, сопровождавший его, бы-ли уже готовы.

Патриарх помчался в Москву.

Он успел к вечерне; Иван-колокол загудел, когда он въез-жал в Кремль.

Никон прямо подъехал к Успенскому собору, и народ вос-торженно его принял. В это время Никон сделался всеобщим любимцем – Москва им гордилась, как гордилась она впо-следствии митрополитом Филаретом. Да и было им чем гор-диться: такого святителя после митрополитов Петра и Фи-липпа Москва не имела. Доступный народу, он держал се-бя в отношении бояр гордо и недоступно и не делал никому никаких поблажек. Справедливый и строгий, он был един-ственный человек в целом государстве, не делавший побо-

ров и не бравший взятки, а между тем для нуждающихся и бедных его казна была открыта.

Имя Никона поэтому гремело по всей Руси, и чтилось оно не только в дворцах, хоромах и теремах, но даже и в отдаленных избах захолустий.

Неудивительно после того, что звон, возвещавший вечерню, на которую прибудет патриарх, означал, что он будет служить и на другой день, и поэтому в воскресенье для слушания обедни собралась в Успенский масса народа.

Прибыл в собор и царь, а с ним и двор, и Боярская дума, и царица с детьми и родственниками.

Началось архиерейское служение, и Никон показался всем необычайно бледным и болезненным. В том месте, где провозглашается: «изыдите оглашеннии», патриарх вышел на амвон и начал говорить на тему «о грехе издеваться над служителями алтаря». Слово его было полно достоинства и негодования; доказывая на основании святого Евангелия всю непристойность и греховность этого безобразия, он прямо указал на неприличную выходку Стрешнева, причем он провозгласил, что он по архипастырской своей обязанности не может оставить это безнаказанным и потому предаст его проклятию.

Едва он кончил, как протодьякон, выйдя посреди церкви, торжественно предал боярина Симеона Стрешнева проклятию.

Неожиданность эта страшно смутила всех, в особенности,

когда ближний боярский сын патриарха князь Вяземский подошел к Стрешневу и велел ему, как оглашенному, выйти из церкви.

После того служба пошла своим порядком, но вся царская семья была в неопisanном смущении, и, когда кончилась служба и они приложились к Животворящему Кресту, все тотчас уехали.

Никон торжествовал: он видел смущение двора и бояр, и это его радовало; за публичное оскорбление он отвечал тем же и показал, что патриарха оскорблять нельзя безнаказанно и что он не пощадит никого, как бы высоко ни стояло это лицо. Предал он проклятию родного брата царицы...

Стрешнев и его партия, то есть враги Никона, воображали, что он начнет против него суд и оскандалится, а тот неожиданно распорядился по-своему и сделал им публичный скандал.

Прогремевшая в Успенском соборе «анафема» произвела поэтому двойное действие: народ весь стоял на стороне патриарха и говорил об его справедливости и беспристрастии.

Зато двор и боярство сильно восстали против него и обвиняли его в своеволии: «Без суда-де патриарх не вправе был этого сделать».

Сторону Никона приняла однако ж Татьяна Михайловна. В это время она перебралась в терем, так как тот был отстроен, и она по уму, по богатству своему и по влиянию на царя господствовала там.

Она помнила, как Стрешнев устроил было скандал ей самой и душевно радовалась, что Никон нашел случай ему отплатить.

Но царь разгневался не на шутку на патриарха за неожиданное для него проклятие дядюшки, тем более что Богдан Хитрово и Матвеев подбивали его «за самоволие патриарха предать его суду».

– Но какому суду? – спрашивал царь.

– Суду митрополитов и архиереев.

– Не знаешь ты, Богдан, церковных правил, – молвил царь, – патриарха может судить лишь Вселенский собор.

Во время этой беседы в Покровском селе, где теперь жил весь двор, явился стольник и доложил, что царское величество приглашается царевной Татьяной Михайловной в терем.

Царь был с сестрами своими очень вежлив и ласков: он всегда являлся к ним по первому же их зову.

Татьяна была его любимица: игривая, ласковая, любящая до обожания брата, она глубоко ему сочувствовала, и он от нее ничего не скрывал и разделял с нею свои горести и радости. Притом они росли вместе и играли вместе и так привыкли друг к другу, что когда Алексей Михайлович уезжал в поход, он получал от нее письма, и как бы он ни был занят и где бы он ни был, он всегда ей отвечал. Поныне много его писем к ней сохранилось в Государственном архиве.

Вот почему он охотно к ней заходил: так как она умела

всегда рассеять много его сомнений и поддержать его в его начинаниях.

На зов ее и теперь он пошел в веселом расположении духа.

Вострушка Таня встретила его с распростертыми объятиями, расцеловала и усадила в своей уютной приемной. Это была прелестная гостиная, уставленная мягкой мебелью и убранная коврами. По случаю лета окна были открыты в сад, откуда шел запах цветов, растущих в клумбах.

– Что, вострушка моя, – обратился он к царевне, – ты так торжественно пригласила меня к себе?

– Да все это противное дело нашего дядюшки, оно покою мне не дает.

– За кого ты дьячишь?..⁶ уж не за Семена ли Лукича... успокойся, я и без того уже так гневен на святейшего... все-му царскому дому сделал позор.

– Нет, видишь ли, братец⁷, я ино толкую... виноват патриарх: без тебя и твоего соизволения не должен он карать, да еще всенародно. Да подумай сам, коли допускать над святейшим издевку, так что молвить о попах?..

– Не одобряю Стрешнева, не одобряю и Никона... Зачем не бил челом, мы бы наистрого и наикрепко учинили сыск и выдали бы ему Стрешнева головой.

– Оно-то так, да ведь и Никон-то, святейший, человек... вот гляди, братец, его грамотка ко мне: плачет он, что вы-

⁶ В то время это означало ходатайствовать.

⁷ Это обхождение историческое.

шло-де так... а сделал я, – байт он, – патриарха-де достоинство поддержать. Ставит дядюшка ваш Семен и собаку и патриарха на одну доску. Это позор и для церкви Господней и для царского дома. Коли не почитать Отцов Церкви, то зачем и избирать патриарха? И не дам я на посрамление ни храма Божьего, ни его служителей. А пред царем каюсь и молю прощения: виноват я, ему не докладывал.

– Кается? Не было бы провинности, не было бы покаяния. А ты вот что скажи, Танюшка, пригоже, что ль, да патриарху учинить дурное, а там каяться.

– Святейший души доброй, жаль ему стало тебя, братец, и нас, – вот он и пишет: благословляет и тебя и нас: я и просила тебя прийти: уж ты прости святейшего, служил он тебе верой и правдой, ничем не досаждал, а от всякого зла ограждал, ты ему прости, а я ему отпишу.

– Да ты послушай, что-де бояре бают: не потрафит завтра царь Никону, он и его проклянет. Отряхал же он прах со своих ног в моей комнате. Никон, коли рассердится, не помнит себя, уж такой норов.

– Святейший знает себе цену.

– Пушай так, каждый должен знать себе цену; да уж он больно строптив.

– Да ведь он собинный твой друг, – заметила она, – а над собинным другом царя и издевка непригожа.

С этими словами она упала на колени, начала целовать его руки, и прекрасные ее глазки глядели так жалостно, что

Алексей Михайлович не устоял:

– Уж ты отпиши ему, сестрица, как знаешь, а я, право, ну, уж Бог его прости! пущай... молится за наши грехи... а мы прощаем ему. – Он нагнулся, поцеловал Таню и вышел.

Когда он возвратился в свою комнату, он обратился к Богдану Хитрово:

– Уж ты о святейшем больше мне не упоминай... Теперь с соколами во поле – чай много перепелов наловил.

Несколько минут спустя на отъезде поле царь уже тешился успехами соколов, кречетов и ястребов.

Охота была двойная: выгоняли из кустарников и хлебов зайцев, и здесь отличались борзые, а перепела, выгнанные из хлебов, излавливались на лету соколами, кречетами и ястребами.

– Молодец Ябедин, ай да Терцев, экий хват Головцын, шу-стер ты, Неверов, – восклицал только царь, одобряя ловчий путь, то есть управление охотой, а сам он в это время подумывал: «Нанес мне кровную обиду святейший, и сердце как-то впервые не прощает ему. Уж не собинный ты мне друг, коли проклял дядю».

Х

Никон покидает Москву

У Стрешнева в Москве сидят: Алмаз Иванов, Хитрово и отец Павел.

– А каков братец-то, – говорит Хитрово, – Никон всех опозорил, а он байт: что ж, уж норов такой... думаю я, как бы какую ни на есть пакость святейшему учинить: пускай сам откажется от патриаршества.

– А вот ты, Алмаз? ты же думный дьяк, так слово за тобой, – обратился к нему Стрешнев.

– Думаю я давно думаю, да что-то все не ладно... А вот надумался: едет сюда в гости царевич грузинский Таймураз. Будет его чествовать царь в Москве, надоть не допускать патриарха к торжеству... Никон, баяли попы, ждет не дождется его приезда; значит, хочет и грузинскую церковь залучить к себе. Вишь, хочет он прибавить к титулу: и грузинский.

– Губа не дура, – расхохотался Стрешнев. – А ты как слышал? – обратился он к архимандриту.

– Люди бают, патриарх готовит царевичу встречу и в Успенском и в палатах патриарших, – молвил отец Павел.

– А мы так учиним: прямо с пути к Красному крыльцу, – усмехнулся Хитрово. – Я-то встречу царевича под Москвой, я и в ответе буду.

– Ладно, ладно, да ты же и уговори царя не звать патриарха к трапезе.

– Уговорить-то уговорю, – сам Никон отряхал-де прах со своих ног с клятвой не быть в царской столовой, ну и шабаш, сиди дома.

– Да как же осерчает он, сердечный! – расхохотался Алмаз.

– Пушай серчает, – бают люди: на сердитых конях воду возят, ну и он повезет, да уж трапезы царской не повидит он, как своих ушей, – авторитетно произнес Хитрово.

– Так ты, Богдан Матвеевич, возьми и меня с собой, – вместе будем встречать царевича Таймураза.

– Ладно, а теперь мне в Покровское к царю, – пожалуй, внесет он в разряд: быть патриарху к встрече царевичу и на трапезе у царя.

– А я намыслил вот что, – сказал отец Павел, – писал по наущению монаха Арсения, стоящего у печатного дела, патриарх Никон Паисию Лигариду митрополиту Газскому: «Слышали-де мы о любомудрии твоём от монаха Арсения, и что желаешь видеть нас, великого государя, и мы тебя, как чадо наше по духу возлюбленное, с любовью принять хотим». Писал в прошлом году то же патриарх государям Молдавскому и Волошскому, чтобы пропустили Лигарида через свои земли. Не едет Паисий – казны не имеет. Пошлите ему пенязи, и он сюда прибудет, – пошлите к нему кого-либо из монахов. Вот коли он приедет, так устройте, чтобы сбли-

зить его с царем, – сам Никон тогда не посмеет против него что-либо сказать: он-де сам его вызвал, как ученейшего богослова. А мы-то грека залучим к себе: бает монах Арсений – любит он и пенязи и пожить во сытость и сласть. Я возьму его в Чудов, и будет он весь наш.

– Ай да молодец! – воскликнул Стрешнев. – Надумал ты такую вещь: расцеловать-де тебя мало, – будешь ты митрополитом. Теперь, Хитрово и Алмаз, нужно этого Паисия поскорей сюда. А я виделся с дядюшкою, боярином Семеном Лукичом Стрешневым; хоша его из ссылки, из Вологды, возвратил Никон: теперь же вопит: я-де царя уговорю, дайте только богослова и Никона прогоним. Вот и богослов будет: первый разбор. Ура! Наша возьмет.

Друзья расстались. Богдан Матвеевич Хитрово уехал в Покровское.

– Я тебя спрашивал, Богдан, – встретил его немного недобрым видом царь.

– Был на Москве, великий государь, нужно-де было устраивать встречу грузинскому царевичу, – денька через два он пожалует к нам.

– Да как же ты там? Уж устрой... по обычаю, знаешь.

– Знаю, знаю, будет по чину и по порядку. Я встречу за городом, у Красного крыльца Борис Иванович Морозов и Илья Данилович Милославский, в сенях – Семен Лукич Стрешнев, а в передней – ты, великий государь...

– Ладно, ладно, так и записать в разряд, а за трапезой быть

без места.

– Кого соизволишь посадить за трапезой с правой стороны?

– С правой – патриарха, а с левой – царевича.

– Как патриарха? Да он отряхал прах своих ног в твоей столовой.

– Правда, да как же без патриарха?..

– Да так, едет в гости царевич не к нему, а к твоей милости, великий государь... А там пускай царевич едет к нему и обедает у него.

– И то правда, уж очень не хотелось бы сидеть с патриархом: ничего-то и есть не буду... а ты ему со стола-то моего пошли...

– Пошлем, сколько угодно и сколько прикажешь, хоша бы и на всю его дворню...

В то время как затевалось неладное в отношении Никона, тот считал приезд царевича поводом к примирению с царем и поэтому готовился принять Таймураза с особенным почетом и торжественностью.

После встречи в Успенском соборе должен был быть отслужен молебен соборне всем духовенством, причем все певчие, какие только находились в Москве, должны были петь; после того патриарх должен был сказать приветственное слово, а выход гостя из церкви с патриархом до вступления их в царские покои должен был сопровождаться колокольным звоном всех московских церквей.

Согласно этому сделаны были и распоряжения от него: как только дадут знать о приближении к Москве царевича, Иван-колокол должен был призвать в Успенский собор все духовенство.

Сам Никон с нетерпением ждал этой минуты, так как он любил царя, и для него было тягостно, что так давно с ним не виделся, не слышал его ласковых слов.

Но вот, после обедни, в конце июня, дали знать, что царевич приближается к Москве, и что царские экипажи и вся свита, долженствовавшая его встретить, выехали из дворца.

Никон послал в Успенский собор ударить сбор, и из всей Москвы стало съезжаться к Успенскому собору духовенство с певчими. Вскоре прибыл туда сам Никон со всем своим обширным двором.

В соборе, приложившись к Животворящему Кресту и к иконам, святитель облачился в свои драгоценные ризы: они были из золотой ткани, украшенной драгоценными камнями, и весили шесть пудов⁸. После того он надел свою митру.

При его росте и мужественной красоте он по величию своему был истым патриархом русского народа.

По обычаю, чтобы народ не скучал, начались часы.

Но вот является князь Вяземский, один из патриарших боярских детей, и объявляет, что царевич уж приближается

⁸ Эта риза хранится теперь в Новом Иерусалиме, и нужно удивляться богатырской натуре Никона, что он мог по несколько часов стоять в таком тяжелом облачении.

к площади.

Никон со всем духовенством, предшествуемый протодьяконом с Животворящим Крестом, отправился на церковную паперть, чтобы встретить там царевича.

Площадь вся залита народом, точно так, как и собор.

Но, к удивлению Никона, процессия царевича не сворачивает к церкви, а прямо направляется ко дворцу.

Никон посылает князя Вяземского узнать, что это значит.

Князь устремился наперерез кортежу, чтобы объяснить с Хитрово, которого он видит впереди всех с приставами и стрельцами, очищающими для царевича путь к дворцу.

Сквозь массы народа князь едва пробивается и забегает на самом Красном крыльце вперед Хитрово.

– Бей его, – шепчет товарищу Стрешнев, – он дядю вывел из собора, а ты опозорь его здесь.

Хитрово имел в руках палку для очищения пути; он поднял ее и ударил князя.

– Не дерись, Богдан Матвеевич, – крикнул князь, – ведь я неспроста сюда пришел, а с делом.

– Ты кто такой? – крикнул Хитрово, как будто не знает его.

– Патриарший человек, с делом посланный... я... хотел спросить...

– Эк чванится... патриарший человек... да я тебя... прочь!

С этими словами он ударил его палкой по лбу.

С окровавленным лицом князь побежал обратно в собор. Находившиеся в соборе возмутились поступком Хитрово: здесь было нанесено оскорбление не только лично Никону, но и всему духовенству.

Никон разоблачился, распустил духовенство и велел ударить в колокол Успенского собора: звон этот подхватили все московские церкви, и при этом трезвоне патриарх уехал в свою палату.

По горячности своей Никон тотчас написал царю жалобу и послал ее с одним из своих бояр; царь отвечал собственноручно, что он велел это дело сыскать и лично повидаться с патриархом.

Но Никон напрасно прождал более недели: не только царь к нему не приехал, но за охотами и травлями царь забыл и о сыске, то есть никому не было поручено произвести следственное дело, а Хитрово продолжал появляться всюду вместе с царем как один из самых приближенных его.

В подобном случае Никон должен был поступить как Рижский: он обязан был лично отправиться к царю и подействовать на него силой своего красноречия, но, избалованный предшествовавшими примерами, он слишком положился на свою силу и на то, что без него не обойдутся, и ожидал, что во время крестного хода, в день Казанской Божией Матери (8 июля), царь, вероятно, приедет в Казанский собор, и там состоится примирение.

Но ожидания патриарха не сбылись: государь в первый раз

в свое царствование не приехал участвовать в крестном ходе.

Тут снова сделано Никоном упущение: он должен был посетить царя и поздравить его с праздником, но он этого не сделал.

Враги Никона воспользовались его ошибками и уверили царя, что он относится с совершенным пренебрежением к нему и к боярам.

Алексей Михайлович не столько рассердился, как обиделся, и совершенно прав: Никон всегда имел множество сильных врагов, и царь лично был причиной его возвышения, и благодаря лишь его привязанности и благосклонности он достиг и патриаршества и величия.

Поставленный раз в такое положение в отношении своего собинного друга, что он считал его неблагодарным и до крайности возмечтавшим о себе и о своей власти, Алексей Михайлович созвал у себя совет ближайших к нему бояр и поставил им вопрос: как унять строптивость Никона.

Ответ был: нужно ограничить власть и запретить ему именовать великим государем...

Наступил вскоре праздник, 10 июля, перенесения ризы Господней в Москву, и торжество это, как установленное отцом царя, всегда посещалось им. Бояре не пустили Алексея Михайловича в Успенский собор, и перед обедней явился к патриарху в его палаты князь Юрий Ромодановский с приказанием от царя, чтобы не дожидались его к обедне в Успенский собор, причем он присовокупил:

– Царское величество на тебя гневен: ты пишешься великим государем, а у нас один великий государь – царь.

– Называюсь я великим государем не сам собою, – возразил Никон, – так восхотел и повелел его царское величество – свидетельствуют грамоты, писанные его рукою...

– Царское величество, – прервал его князь, – почтил тебя как отца и пастыря, но ты этого не понял; теперь царское величество велел мне сказать тебе, чтоб ты не писался и не назывался великим государем и «почитать тебя вперед не будет»...

С этими словами князь удалился.

Когда ушел от него боярин, Никон стал ходить быстрыми шагами по комнате и говорить вслух:

– Он запрещает мне именоваться великим государем... Нешто я желал того? Нужно было во время его отсутствия, чтобы дела шли в порядке, чтобы воеводы повиновались, и он приказал мне именоваться так. Разве можно было удержать порядок во время чумы, охватившей почти все большие города на Востоке, если бы я не действовал как полновластный государь... или дошел ли бы царь до Вильно, если бы я из Москвы не отправлял ему, как государь, и ратных людей, и казну, и хлеб, и иные запасы!.. Да кабы не я, так и Богдан не дал бы нам помощи, – и Малороссия и Белоруссия не были бы наши. А теперь, за спасибо, «почитать меня вперед не будет»... Может он не почитать меня как Никона, но как патриарха он должен...

К тому ж я патриарх не токмо Великия, но и Малыя и Белья Руси... А эти страны, пока нет мира, еще считаются за польской короной... Могу отказаться от московского патриаршества, но я остаюсь еще патриархом малоруссов и белоруссов... Пойду в собор и сложу с себя московское патриаршество.

С полнейшим негодованием за свое унижение и за все обиды, перенесенные в последнее время, Никон отправился в собор служить обедню... Но при этом он, к сожалению, должен был вспомнить заповедь Христа: «Аще убо принесши дар твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя: остави ту дар твой и перед олтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой» (Мат. V. 23 и 24).

Забыл эту заповедь великий человек, а между тем кроткий и смиренный его ответ смягчил бы сердце царя, и приезжай к нему тотчас Никон, он поехал бы с ним в собор, но тот, как мы видели, отправился с твердой решимостью отказаться от патриаршего московского престола... и тут он должен был избрать иную форму, чем он сделал... После причастия велел он ключарю поставить по сторожу, чтобы не выпускали людей из церкви, будет-де поучение!

Пропели «буди имя Господне», народ столпился у амвона слушать слово.

Вышел на амвон патриарх во всем облачении и сказал взволнованным голосом:

– Ленив⁹ я был вас учить. Не стало меня на это, от лени я окоростовел, и все, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх, если же помыслю быть патриархом, то буду анафема¹⁰. Как ходил я с царевичем Алексеем Алексеевичем в Калязин монастырь, в то время на Москве многие люди к Лобному месту собирались и называли меня иконоборцем, потому что многие иконы я отбирал и стирал, и за то меня хотели убить. Но я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли. Вот каким образом следует верить и поклоняться (при этом указал на образ Спасов на иконостасе), а я не иконоборец. И после того называли меня еретиком, новые-де книги завел! И все это делается ради моих грехов. Я вам предлагал мое поучение и свидетельство вселенских патриархов, а вы в окаменении сердец своих хотели меня камнем побить; но Христос один раз нас кровию искупил, а меня вам камением побить и еретиком называть, так лучше я вам от сего не буду патриарх.

Кончил патриарх и стал разоблачаться. Народ оцепенел от ужаса – обвинение шло к нему, между тем предстоявшие в церкви были из тех, которые его обожали.

Послышались всхлипывания и голоса:

– Кому ты нас, сирых, оставляешь?

– Кому вам Бог даст и Пресвятая Богородица изволит, –

⁹ Речь эта буквально его и историческая.

¹⁰ Впоследствии последние слова Никон отрицал.

отвечал Никон. Принесли мешок с простым монашеским платьем.

Народ бросился, отнял платье и не дал Никону его надеть.

Никон отправился в ризницу, и между тем как народ волновался, шумел, негодовал и плакал, он написал там царю: «Отхожу ради твоего гнева, исполняя Писание: дадите место гневу, и паки: и егда изженут вас от сего града, бежите во он град, и еже еще не примут вас, грядуще оттрясите прах от ног ваших».

Надел Никон мантию с источниками и клобук черный вместо белого, посох митрополита Петра поставил на святительском месте, взял простую палку и хотел выйти из собора, но народ не выпустил его...

Тогда присутствовавший здесь митрополит Крутицкий Питирим упросил народ выпустить его, Питирима, обещаясь отправиться прямо к царю во дворец.

Его выпустили, и он в сопровождении огромной толпы, стоявшей на площади, пошел в царские палаты.

Почтенного святителя тотчас ввели в приемную царя, где в то время был уж прием бояр с праздничным поздравлением. Услышав о случившемся в соборе, царь сильно встревожился и воскликнул:

– Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне.

И, действительно, дело было неслыханное, небывалое: никогда еще в таком виде никто не оставлял не только патриаршей, но и вообще епископской кафедры на Руси, и при ком

же это совершается? При благочестивейшем из русских царей. И кто же так оскандаливает его? Собинный друг.

— Князь Алексей Никитич, — обращается он к князю Трубецкому, именитейшему боярину и воеводе, так блистательно доведшему армию до Вильно, — отправься в собор и упрости Никона остаться патриархом и дать нам свое благословение.

Князь Трубецкой поспешил в собор. Войдя туда, он подошел под благословение патриарха.

— Прошло мое благословение, недостойн я быть в патриархах, — молвил Никон.

— Какое твое недостойнство и что ты сделал зазорного? — спросил Трубецкой.

— Если тебе надобно, то я стану тебе каяться, князь.

— Не кайся, святейший патриарх, скажи только, зачем бежишь, престол свой оставляешь? Живи, не оставляй престола. Великий государь тебя жалует и рад тебе.

— Поднеси, князь, это государю, — прервал его Никон, подавая ему написанное в ризнице письмо, — попроси царское величество, чтоб пожаловал мне келью.

С нетерпением и в смущении ждал царь возвращения князя Трубецкого и сам подходил к окну, глядя на площадь, и, когда князь, выйдя на площадь, направился ко дворцу, Алексей Михайлович пошел ему навстречу в сени.

— Что, княже? — спросил он.

Князь передал ему разговор свой с Никоном и подал царю

письмо.

— Что может писать человек в гневе! — милостиво произнес царь. — Возвратись вновь в собор, отдай назад патриарху его письмо и проси его остаться на престоле патриарха.

Никон ждал почему-то, что сам царь приедет к нему и примирится с ним. Сильная тревога овладела и патриархом и всеми предстоящими: Никон то садился на нижней ступени патриаршего места, то вставал и подходил к дверям; народ с плачем не пускал его: наконец, Никон до того расстроился, что сам заплакал.

Но вот не царь, а князь Трубецкой возвращается из дворца, отдает назад Никону письмо и просит от имени царя патриаршества не оставлять.

Приходит Никону мысль: им так пренебрегают, что даже и письма его не хотят читать, и он восклицает:

— Уж я слова своего не переменю, да и давно у меня обещание патриархом не быть.

Сказав это, он поклонился боярину и вышел из церкви.

Карета его стояла у церкви; он вошел в нее, но народ выпряг лошадей.

— Так я и пешком пойду.

Он пошел через Красную площадь к Спасским воротам.

В это время Москва, осведомившись о происходящем в Успенском соборе, бросилась в Кремль, и вся площадь была уже занята тысячами волнующегося и плачущего народа.

Заперли Спасские ворота и не выпускали Никона.

Из дворца это видели, бояре встревожились и поняли, что это волнение может принять дурной оборот, если вырвется хотя одно какое-нибудь неосторожное слово рассерженного Никона, а потому оттуда отправилась сильная стража с боярами и заставила народ отворить ворота.

Никон, сидевший в углублении ворот, когда их открыли, пошел пешком через Красную площадь на Ильинку, на подворье своего Нового Иерусалима...

Так они прошли некоторое расстояние, но Никон упросил народ разойтись, причем благословлял его.

С плачем и рыданием все прощались с ним, целовали его ноги и одежду.

И Никон плакал навзрыд, – ему казалось, что с любимым народом он расстанется навек.

Это не было прощание патриарха с паствой, а отца – с детьми...

Народ разошелся, и Никон уехал в свое подворье.

Напрасно он ждал здесь несколько часов¹¹, что из дворца ему пришлют хоть ласковое слово или от царя, или от царевны Татьяны Михайловны.

Ожидания его были напрасны... И вот почти без чувств монахи усадили его в карету, и лошади помчали его в Новый Иерусалим.

¹¹ Некоторые уверяют, что он здесь пробыл три дня.

ХІ

Интрига

Удаление Никона из Москвы было с его стороны величайшею ошибкою: он дал возможность всем врагам своим поднять головы и повести его к окончательной размолвке с царем.

Первые восстали раскольники и торжественно праздновали удаление еретика из Москвы: жена Глеба Морозова, раскольница Феодосия, и жена Урусова – фанатички, – бегали по теремам и бунтовали их, разжигая страсти и преувеличивая поступок Никона, хотя в речи его к народу не было ничего антиправительственного, а, напротив, все было направлено против раскола.

Раскольники это поняли и поняли то, что удаление Никона наносит им больший удар, чем его бывшее могущество; так как удаление его было из-за идеи, следовательно, и он становился мучеником, пострадавшим из-за раскольников и их происков. «Меня хотели побить камнями, – говорил он народу, – и я удалюсь».

Поэтому раскольничья партия распустила слухи, что Никон удалился из честолюбивых видов, чтобы из монастыря действовать против правительства совершенно самостоятельно и независимо; что для этого он построил такой об-

ширный монастырь на тысячу монахов и устроил его, как крепость; что туда он может набрать ополчение из монастырских крестьян и, пожалуй, может держать в осаде и самую Москву.

Нужно-де на этом основании отнять от него власть над монастырскими имуществами.

Средством же к тому было заставить Никона передать блюдение патриаршего престола митрополиту Питириму и в Монастырский приказ назначать бояр – царю.

Все эти толки, суды и пересуды были на руку боярам: всем им, начиная с Милославского и Морозова, Никон был как бельмо на глазу. Патриарх не допускал им греть руки в завоеванной Белой Руси и в присоединенной Малороссии. По государственному же хозяйству и государственной казне им введена была такая строгая отчетность, что каждая копейка должна была отчитываться.

Пуще же всего на него взъелись за то, что он восставал против медных рублей, так как партия Милославского страшно злоупотребляла ими.

Эти причины вызвали то, что все боярство восстало против него и, собравшись в Боярской думе, уговорило царя сделать в отношении Никона решительный шаг.

Царь отправил к нему на третий день Алексея Никитича Трубецкого и дьяка Лариона Лопухина.

Никон в это время успел уже устроиться в Новом Иерусалиме и усердно занялся своими сооружениями.

Князь Трубецкой застал его на работах: он готовил в мастерской окна и двери для монастыря.

— Для чего ты, святейший патриарх, — обратился к нему Трубецкой, — поехал из Москвы скорым обычаем, не доложив великому государю и не дав ему благословения? А если бы великому государю было известно, то он велел бы тебя проводить с честью. Ты бы подал великому государю, государыне-царице и детям их благословение; благословил бы и того, кому изволит Бог быть на твоём месте патриархом, а пока патриарха нет, благословил бы ведать церковь Крутицкому митрополиту.

— Чтоб государь, государыня-царица и дети их пожаловали меня, простили, — отвечал с кротостью и смирением Никон, — а я им своё благословение и прощение посылаю, и кто будет патриархом, того благословляю; бью челом, чтобы церковь не вдовствовала и беспастырна не была, а церковь ведать благословляю крутицкому митрополиту; а что поехал я вскоре, не известив великому государю, и в том перед ним виноват: испугался я, что постигла меня болезнь и чтоб мне в патриархах Московских не умереть.

Приехав к царю, князь Трубецкой к этим словам от себя присовокупил, что будто бы патриарх сказал: «А впредь я в патриархах быть не хочу, а если захочу, то проклят буду, анафема».

Последние слова не отвечают всей смиренной речи Никона, а князь Трубецкой явно прибавил их от себя, чтобы

окончательно убедить царя, что Никон навсегда отказывается от патриаршества вообще, между тем как тот говорил лишь о московской кафедре.

Согласно этому показанию, царь передал патриаршую кафедру блюсти митрополиту Питириму, а в Монастырский приказ назначил своих бояр.

Через несколько дней Никон написал царю письмо, дышавшее смирением: в нем просил извинения за поспешный свой отъезд, который он объяснял своею болезнью.

Несколько дней спустя явился к Никону Иван Михайлович Милославский, племянник царицы, и от имени царя объявил ему, что Борис Иванович Морозов сильно болеет и, если патриарх имеет на него какую-нибудь досаду, чтобы простил ему.

Никон собственноручно отвечал царю письмом:

«Мы никакой досады от Бориса Ивановича не видали, кроме любви и милости, а хотя бы что-нибудь и было, то мы Христовы подражатели, и его Господь Бог простит, если какой человек в чем-нибудь виноват пред ним. Мы теперь оскудели всем, и потому молим твою кротость пожаловать что-нибудь на созидание храма Христова воскресения и нам бедным на пропитание».

Но его кротость ничего не прислал, и с первых же дней своего приезда в Новый Иерусалим» Никон увидел себя в затруднительном положении.

Бояре же не дремали: они ежедневно наговаривали на пат-

риарха, и царь дал ему через стольника Матюшкина, своего родственника, знать, что в Москве осталось еще только два человека, жалеющих его, — это он, царь, и князь Юрий Долгорукий.

Спустя еще некоторое время бояре настояли арестовать и имущество и бумаги Никона, оставшиеся в Москве.

При обыске, который совершал князь Трубецкой, найдены письма не только царя к нему, но и письма царицы, царевен и многих бояр. Переписка эта не понравилась царю и, как видно, склонила его на сторону бояр — иначе нельзя объяснить поступка его: все ценные вещи патриарха, полученные им в дар от различных лиц, он конфисковал в свою пользу, и несколько вотчин, приписанных к Новому Иерусалиму, было отобрано от него.

Сделано еще одно распоряжение: после отъезда из Москвы Никона масса народа из Москвы отправлялась в Новый Иерусалим повидать и поклониться своему святителю. Поэтому вышло запрещение всяким чинам посещать монастырь: это лишило Никона окончательно всех средств не только к сооружению храма, но и к существованию обители.

Это же и вызвало со стороны Никона резкий протест на имя царя, так как он увидел, что дело его потеряно в Москве.

Нужно полагать, что со времени этого письма, в котором Никон укоряет Алексея Михайловича в своеволии и несправедливости, где, оправдываясь в том, что он писался великим государем, именует это название проклятым, — он, Никон,

твердо решил идти вразрез с правительством царя открытую борьбу, чтобы отстаивать права патриарший.

В письме этом он, между прочим, показывает непристойность ареста его секретной переписки как патриарха; жалуется на свою нищету и на то, что он оболган, поношен и укорен; жалуется, что государю доносили несправедливо, что он с собой взял будто бы большую казну, причем указывает ему счет своим расходам.

Неизвестно, как было принято это письмо в Москве, но, должно быть, с негодованием, потому что весь этот год прошел без всякой перемены к патриарху, и слухи лишь доходили к Никону, что боярство ищет против него повсюду каких-нибудь обличений.

Между прочим, в 1659 году сочинили следующее: будто Никон в беседе с певчими дьяконами, Тверитиновым и Семеновым, приехавшими, вопреки запретного указа, в Новый Иерусалим, говорил о Выговском, что вот-де при нем он, Выговский, был верен царю, а теперь изменяет, и что ему, Никону, стоит только две строчки написать Выговскому, и тот снова будет служить царю.

Очевидно, что об этом говорилось меж бояр, и им хотелось во что бы то ни стало показать неблагонадежность Никона и очернить его перед государем, выставив его мятежником. Вот почему и сочинена эта беседа. Нельзя же допустить, чтобы такой государственный человек и такой гордец, как Никон, стал болтать так с какими-то певчими дьякона-

ми. Ясно было, что бояре их послали в монастырь, чтобы иметь повод, снявши с них сказки, поточить свой язычок на его счет.

Иначе нельзя объяснить всей этой истории: едва ли простые дьяконы осмелились бы, даже вопреки царскому указу, явиться в монастырь, если бы за спинами их не были сильные бояре.

Однако же царь хотя и поверил их сказке, но послал патриарху церковное вино, муку пшеничную, мед и рыбу. Повез все это дьяк Дементий Башмаков.

Дьяк застал Никона в ските и, спрося его о спасении, представил ему царские дары.

Патриарх бил челом царю за эти дары и спросил об его здоровье; потом в своей Воскресенской церкви отслужил обедню.

После того он повел Башмакова в монастырь. Впереди его шли боярские дети; когда они подошли к монастырским воротам, их встретила стража монастырская, состоявшая из десяти человек. У монастыря вышла к ним вся братия с архимандритом.

Осмотрев с Башмаковым сооружения и монастырь, патриарх ввел его в свою монастырскую келью.

Здесь он обратился к Башмакову.

– Между властями, – говорил он, – много моих ставленников, они обязаны меня почитать, они мне давали письмо за своими руками, что будут почитать меня и слушаться. Я

оставил святительский престол на Москве своею волею, московским не зовусь и никогда зваться не буду; но патриаршества я не оставлял, и благодать Святого Духа от меня не отнята: здесь были два человека одержимые черным недугом; я об них молился, и они от своей болезни освободились; и когда я был на патриаршестве и в то время моими молитвами многие от различных болезней освободились.

В первый раз, как видно, царю донесли ясно, в чем заключалось это отречение. Раньше же сказанное им в Успенском соборе объясняли как общее отречение от патриаршества, а тут выходило, что он говорит лишь о московской кафедре.

Царь увидел, что бояре ввели его в трущобу, из которой выпутаться было нелегко.

Тут случилось новое обстоятельство: в Вербное воскресенье должно было совершиться хождение на осляти патриарха, во образ въезда Христа в Иерусалим, и поэтому царь разрешил этот въезд блюстителю патриаршего престола. Но на это, в резких выражениях, последовал протест патриарха: так как, по его мнению, церемонию эту мог совершать лишь патриарх; а если царь желает избрать нового, то он ничего не имеет против этого, и кого благодать изберет на великое архиерейство, того он благословит и передаст через рукоположение божественную благодать, как сам ее принял.

Протест произвел сильное впечатление в Москве; правительство поняло, что Никон и не думает отказываться от патриаршества и, отказавшись лишь от московской кафедры,

предоставляет себе право рукоположить в патриархи Московские, кого изберет собор.

Но какую же роль будет он играть тогда в государстве? А между тем правительство желало, чтобы он перестал вмешиваться в дела церковные.

Дьяк Алмаз, его старинный враг и друг Стрешнева, вызвался в Боярской думе ехать к нему с думным дворянином Елизаровым.

Елизаров, приехав к нему 1 апреля 1659 года с Алмазом, начал ему выговаривать:

– Ты-де, патриарх, отказался от московского патриаршества, и поэтому писать тебе о Крутицком митрополите не довелось, так как он действовал по царскому указу.

Никон, объявив причины своего протеста, присовокупил:

– Престол святительский оставил я по своей воле, никем не гоним, имени патриаршеского я не отрицал, только не хочу называться московским; о возвращении же на прежний престол и в мыслях у меня нет.

– А царь приказал, – прервал его Елизаров, – вперед о таких делах к нему, великому государю, не писать – так как ты-де патриаршество оставил.

– В прежних давних летах, – обиделся Никон резкостью тона, – благочестивым царям греческим об исправлении духовных дел и пустынники возвещали, я своею волею оставил паству, а попечение об истине не оставил и вперед об исправлении духовных дел молчать не стану.

– При прежних греческих царях, – еще резче произнес царский посол, – процветали ереси, и те ереси пустынники обличали, а теперь никаких ересей нет, и тебе обличать некого.

– Если митрополит, – сказал кротко Никон, – действовал по указу великого государя, то я великого государя прощаю и благословение ему даю.

Этот разговор был истолкован царю так: Никон объявил, что он, если даже избран будет новый патриарх, оставляет за собой право высшего наблюдения за церковью и молчать не будет и, вместо извинения перед царем за неуместное письмо свое, он дерзает прощать царя.

– Нужно низложить его, – кричали одни.

– Нужно гордеца смирить; а единственно возможная в этом случае мера – это предать его суду и лишить его архиерейства. Но как это сделать?

Решиться на такой шаг царь не видел еще поводов, тем более, что совесть подсказывала ему: да в чем же вина Никона?

XII

Женихи царевен

Января 5-го, 1660 года, во дворце праздновался торжественно день рождения царевны Татьяны Михайловны: ей исполнилось двадцать четыре года.

Двор не имел в те времена того веселого и европейского вида, какой он носил при предшествовавших царствованиях.

Бахари, гусельники, органисты, домрачеи, шуты, карлы, арапы исчезли, и их заменили калики перехожие, монахи и монашенки, странники и странницы.

Вместо прежних песен и пляски, слышались духовные концерты, духовные хоры, духовные песни об аде и тому подобное, или же рассказывались легенды: о посаднике новгородском Шиле, о муромском князе Петре и супруге его Февронии, о Марфе и Марии, об Ульяне, о половчине, о рабе, о двух сапожниках, об иноке, об умерщвленном младенце, об оживленной курице, о вдове целомудренной, и множество повествовалось других дошедших и не дошедших к нам былин и легенд.

Сами же калики и странники помещались в бывшей прежней Потешной палате, а когда перестроился царский терем, они сначала помещались внизу, а потом богадельня явилась не遠далеке от дворца в виде особой пристройки.

Праздник царевны прошел поэтому тоже в молитве в церкви и потом в слушании духовных хоров и песен, и тем тяжелее был он для царевны, что любимый ее святитель, Никон, отсутствовал и был в опале.

Вздумала она было при посещении терема царем заикнуться о Никоне, но тот с несвойственным ему неудовольствием отвечал:

– Уж мне Никон сидит здесь... Только и слышишь со всех сторон каждый час: вот кабы Никон, то давно был бы мир с Польшею; а иные бают: кабы не Никон, да со своими затеями, да широким стоянием, был бы давно мир... И разбери их.

– А вести какие от князя Юрия Долгорукого из Вильны? – спросила царевна, чтобы замять разговор.

– Послушался он князя Одоевского и выступил оттуда, а гетман Гонсевский... вообрази, что он в бегстве, и напал на него... А князь Юрий разбил его, да полонил и самого гетмана... да кабы Одоевский и Плещеев не со своим местничеством против Долгорукого: не пойдем-де к младшему на подмогу, то и гетман Сапега был бы в плену... Выдал я их головой Долгорукому... Получил я гонца да разругал князя Юрия: зачем-де Вильну покинул... Да ляхи баламутят, все обещаются избрать меня в короли, а я им будто бы верю... А нам бы со свейцами мир учинить; там Польшу заставим отдать нам Белую Русь, да закрепить надоть за нами Малую Русь... вот видишь ли, сестрица, теперь, после победы кня-

зя Юрия да полонения гетмана Гонсевского, ляхи позатах-ли... Да и свейцы затихли, мор передушил их, да и Ян Казимир отдал им ливонские города, — так с ними-де мы в перемирии... Теперь нужно справиться с гетманом малороссийским Выговским: изменил он нам, а Ромодановский с Шереметьевым в осаде — передался он, вишь, ляхам и союз учинил с татарами. Мы и снарядим рати наши, да с князем Трубецким пошлем их на хохлов.

— Дай Господь Бог тебе победу, — перекрестилась царица. — А войска, кажись, много в Москве?

— Еще бы, — с гордостью сказал царь. — Ратники мои brave: драгуны, рейтары, пушкарники и стрелцы были и при осаде Смоленска и Риги... Сколько они городов полонили... А счетом всей-то рати более полутора тысяч.

— А кто же будет в передовом отряде? — полюбопытствовала царица.

— На кого князь Алексей (Трубецкой) соизволит.

— Коли так, так ты бы, братец, зашел к сестрице царице Ирине... Хотела она с тобой по твоему государеву делу молвить пару слов.

— Ладно.

Царь поцеловал ее и пошел в отделение царицы Ирины.

Он поздоровался с сестрой и сказал ей, что его прислала к нему Татьяна Михайловна.

— Я по делу к тебе важному, — молвила Ирина. — Хотела я спросить тебя, что намерен ты делать с царицами Анной

и Татьяной... Мой век уж прошел, Христова невеста... а те-
то чем провинились?..

– Да ведь Татьяна прежде не хотела слушать о женихах.

– То было прежде, а теперь она байт: нужно-де выйти за-
муж... Гляди, говорит она, боярыни в теремах-то лучше жи-
вут, чем царицы. На той глаза-то всех, а боярыня, что хошь,
то и делает, да коли она вдова, то все едино, что боярин у
себя. А королевичей где набрать? Да у тебя-то, братец, тож
царевны нарастают.

– Я-то не прочь, пушай-де замуж идут, да женихов-то,
Иринушка, где набрать?

– А чем-де не женихи: князь Семен Пожарский да князь
Семен Львов, – обрадовалась царевна.

– О-го-го! – улыбнулся царь. – Два князя да два Семена...
Да ведь оба-то хотя молодцы, но им бы взять допреж по го-
роду аль в полон хотя бы и Выговского.

– Так ты, братец, пошли их с князем Алексеем Никитичем
в Малую-то Русь и, коли вернутся, да с победою... с знаме-
нами, да с пленниками, булавами... тогда... тогда...

– По рукам, да в баню, – расхохотался царь, – но бо-
яре-де что загогочут? Романовы, Милославские, Морозовы,
Стрешневы, Черкасские, Одоевские, Урусовы, Матюшкины
и иные; ведь заедят, скажут...

– Да что их слушать-то, братец. Коли терем соизволит на
это, то все-то бояре уставят брады ко земле и молвят: уме-
стен брак... Коли мы да бабы загогочем, то нашего-то брата

не перекричишь. Ты лишь соизволь... да сам посуди... Пожарские сражались за нас с ляхами и Русь спасли; а Львовы тоже имениты... удельные.

– Это-то так, да видишь ли, сестрица, нужно подумать...

– Нет, уж ты не думай, а дай слово... Пойми, братец, Анята и Таня сироты, а я старшая их сестра... Кому же ра- деть о них? Танюшке, видишь, сегодня двадцать четыре го- да, а Аняте и того больше... пора и в замужество.

– Даю слово... но допреж поход... Я скажу князю Алек- сею, как он соизволит; опосля похода побалагурим.

С этими словами царь поднялся с места и вышел.

Сильная забота лежала на нем: армия его была поставле- на на хорошую ногу благодаря заботам и трудам Никона, и последнего даже обвинили раскольники и попы в том, что он-де больше занят барабанами, пушками и оружием, чем своим святительским делом. Теперь всю эту победоносную и стройную, хорошо обученную армию он должен отправить в зимний поход, то есть в том же январе двинуть ее к Северу.

Какое-то странное предчувствие овладело им, когда он вышел от сестры своей Ирины.

«Поговорю о Пожарском и о Львове с князем Алексеем, – подумал он, – и послать ли их с войском, коли они просятся в женихи царевнам?...»

На Москве в это время было весело: вместе с войсками стянулось сюда почти все боярство, то есть семейства всего служилого люда. Кто – повидаться с родными, кто – за жени-

хами, кто – за детьми, кто – за мужьями. Съезду способствовала еще и хорошая санная дорога, и Москва закипела народом и торговым людом. По улицам звенели бубенчики, оружие и гарцевали наездники: драгуны, рейтары, казаки. Ежедневно вступали отдельные партии и целые полки; а стрелецкие слободы были точно лагерь: почти со всех концов России, особенно с севера и востока, они были сюда стянуты.

Царь Алексей Михайлович мог тогда гордиться своею армиею – она была одна из лучших в Европе, потому что организацией ее заняты были тысячи иностранных лучших офицеров: голландцы, немцы и англичане.

Впоследствии, когда Петр Великий спросил Якова Долгорукого, чтобы он откровенно ему сказал, какую разницу он находит между его и отца его царствованием, – Долгорукий ответил ему: «У отца твоего армия была лучше, чем у тебя, зато ты создал флот».

Наши историки поэтому напрасно считают Петра I творцом армии. Инженерное искусство было в то время на довольно высокой степени, и мы в настоящее время зачастую только возвращаемся к старине: нынешние земляные работы тогда практиковались еще с большим успехом, чем теперь, а минное дело велось по всем правилам и теперешней науки.

Имея, таким образом, внушительные силы, борьба с Малороссией и татарами казалась боярам не опасной и необходимой, тем более что требовалось не допустить соединения их с Польшей.

Самый зимний поход предпринят в Малороссию, чтобы не дать Польше собраться с силами для отправления Выговскому подкреплений.

План этот был удачно обдуман, рассчитан, а внушительная полуторастотысячная армия обещала успех и полную победу.

Самая Малороссия призывала царя к себе, а именно восточная часть по сю сторону Днепра, а Украина была нам враждебна, и только Киев находился в руках Шереметьева.

При таком могуществе царя, казалось, ничтожной должна бы была для него быть борьба с Никоном.

И в самом деле, что значит для царя отшельник, владеющий в Новом Иерусалиме десятком стрельцов, сотнею бедных монахов (остальная братия с голоду разбежалась), – ему, победителю поляков и шведов, стоящему после войны во главе сильной и победоносной армии?..

Так полагали тогда все москвичи, видя стройные царские полки.

Не так однако ж думал сам царь: этот инок, как призрак, преследовал его и как будто шептал ему: «Ведь это все дело рук моих, и когда я отпускал эти войска с моим благословением, был успех и победа... Посмотрим, как это будет без моего благословения и без моего совета».

И хотелось бы царю послушать и этого совета, и вдохновенного благословения, и слова святителя. Но как сделать? Самолюбие не позволяет: бояре успели уже доложить ему,

что Никон хвастал, что стоит ему написать несколько слов гетману, и тот покорится, а армии его, царя, гетман-де не устрасится.

— Поглядим, — отвечает на свою мысль царь, — как это гетман не покорится моим войскам... Что есть лучшего у меня посылается туда, и коли они побеждали и одолевали поляков и свейцев, то они уничтожат и черкасских казаков и татарскую орду... Но все же лучше бы было, кабы Никон не был строптив, — может, и взаправду устроил бы мир без кровопролития.

Мысль эта не дает царю покоя и, выйдя от сестры, он говорит себе самому:

— А ведь Таня что ни на есть умница. После обыска у святейшего найдены ее письма... Я-то их уничтожил, да все ж князь Алексей их читал... А тут она вдруг замуж, — ну и замажем рты... Да и от Никона нарекание отойдет, и он перестанет злиться и укорять: зачем-де мою переписку читали... людей сгубили. А женихи, правда, молодые... По правде-то, ведь и оба Морозовы, да и сам тестюшка мой вдовым женился, да еще на старости.

С этими мыслями он возвратился в свою приемную, принял поздравления духовенства и бояр, потом отправился обедать.

После обеда, когда князь Алексей Никитич Трубецкой возвратился к себе, он велел дьяку своему занести в разряд: Семену-де Романовичу князю Пожарскому и князю Семену

Петровичу Львову быть воеводами в конных передовых полках.

XIII

Битва под Конотопом

Десять дней спустя после того войска стройно двигались в Кремль, для того, чтобы, помолившись и получивши от митрополита Питирима, заступившего Никона, благословение, а от царя отпуск, двинуться в поход.

Войска были уж снаряжены по-походному и с самого раннего утра устраивались в Кремле; царь же, царица и царевны прибыли туда, когда трезвон всех церквей с Успенским собором возвестил приезд туда митрополита.

Царица и царевны должны были, по обычаю, быть в покрывалах и за занавескою, но воины, возвратившись с походов, видели, что и в Белоруссии, и в Польше, и в Малороссии женщины без покрывал, и сидят за одним столом за обедом с мужчинами, и поэтому сделано было в первый раз отступление от обычая, и царский дом, равно и все их ближние боярыни и боярышни, хотя и приехали в закрытых возках¹², но были в церкви без покрывал, и занавесь в церкви была отдернута.

Отслужена была обедня и молебен; потом отъезжающие в войска князь Трубецкой, воеводы и полковники, поклонившись и приложившись к святым иконам, стали подходить к

¹² Капторы, как их тогда называли.

царю и к его семейству прощаться. Подошли к царевнам и князь Семен Пожарский и князь Семен Львов.

Оба князя по обычаю ударили им сначала челом, потом, приложившись к ручке, которая была в перчатке, поцеловались с царевнами.

Обе царевны, Анна и Татьяна, были в драгоценных шубках, а на головах их собольи шапочки, украшенные жемчугами. Не белились и не румянились они, так как и без того были прекрасны с их черными глазами и темными бровями. Царевны были похожи друг на друга, но Татьяна имела более энергичное лицо и была больше ростом.

Но на обеих произвели эти женихи не одинаковое впечатление: Анна нашла своего жениха хотя не совсем молодым, но интересным; Татьяне ее жених совсем не понравился – он представлялся ей слишком солдатом.

Но царю это прощание с отъезжающим войском показалось слишком официальным и безжизненным – не было ни вдохновенного благословения, ни горячей речи, – словом, недоставало Никона, умевшего электризовать всех.

Простившись с войском, которое было, впрочем, окроплено духовенством, несмотря на сильный мороз, царь уехал во дворец.

Прибыв домой, он обратился к царице Марье Ильиничне:

– Ты что-то не радостна, – сказал он.

– На сердце будто камень, – прослезилась она.

– Да и у меня... Помнишь, когда, бывало, Никон бла-

гословляет войско... как-то радостно на сердце... да и сам идешь в поход... как будто так и след.

– Уж не знаю что? А что-то не то, что было, – вздохнула царица.

Чтобы рассеяться, царь зашел к сестре: Иринушка хлопотала об обеде, Аннушка что-то рассказывала горячо боярыням и боярышням, не бывшим в церкви, а Танюшка забралась в свое отделение и горько плакала.

Алексей Михайлович зашел к ней; она шириной утерла слезы и, бросившись к брату, повисла у него на шее.

– Братец, братец, – говорила она всхлипывая, – зачем ты отослал ратников?

– Тебе жаль, сестричка, жениха, так вернуть его можно.

– Зачем отослал войско, да без благословения патриарха?

Она попала ему прямо в сердце; это было именно то, что и его тревожило.

Но он собрался с духом и произнес сухо:

– И на митрополите Питириме благодать Святого Духа, и его благословение оградит воинов, а воинствующая Богородица будет их заступница и даст им одоление врагов...

– Но помнишь, братец, когда ты выступал в поход под Смоленск: после благословения патриарха ратники шли как на пир... а теперь... все лица мрачны, суровы, да и князь Семен Пожарский как будто семерых съел.

– Полно, – прервал ее Алексей Михайлович, – так тебе кажется... Увидишь, победа за победой ждет моих молод-

цов... ведь все, что лучшее, идет в поход... Притом главный воевода – князь Алексей Никитич, а он убелен и сединами и опытом.

Царь вышел от нее и в тот день был спокоен, но чем дальше уходили войска от Москвы, тем тревожнее он становился, а 7 февраля, выйдя после обедни в дворцовой церкви Святой Евдокии, ему в трапезной докладывали решение состоявшегося в кабинете совета бояр: Бориса Ивановича Морозова, князя Якова Черкасского, князя Никиты Одоевского, Ильи и Ивана Милославских. Решение это противоречило первоначальному плану силой подчинить себе Малороссию. В новой инструкции предписывалось Трубецкому во что бы то ни стало добиться примирения с гетманом Выговским, а потому разрешено ему: 1) утвердить за ним все привилегии, какие предлагала ему Польша; 2) отказаться от воеводских начал; 3) в случае надобности очистить даже Киев.

Другими словами: Трубецкому предлагалось медлить с наступлением и вести переговоры о мире, – это чуть-чуть не погубило и русское дело, и всю нашу блестящую армию.

Здесь прямо сказалось отсутствие Никона. Тот был в отчаянии, когда наша победоносная армия остановилась в Вильне и последовала в Варшаву и Краков, – а тут выслали сильное войско и заставили главнокомандующего медлить, чтобы дать средства гетману Выговскому соединиться с татарами.

Трубецкой исполнил инструкцию: он медленно продвигался вперед и в начале апреля был только в Константинове

на Суле. Сюда прибыли к нему Безпальный с малороссийскими казаками, восставшими против гетмана Выговского, и из Лохвиц все русские войска, находившиеся в Малороссии.

Последние он не должен был трогать, так как они должны бы были действовать или во фланг, или в тыл неприятеля, который мог появиться из-за Днепра с татарами.

На пути Трубецкого находился Конотоп, в котором заперся полковник Выговского, Гуляницкий. Здесь князь должен был бы оставить отряд для осады крепости, а сам обязан был двигаться вперед; а он, не окопавшись даже, занялся обложением и осадой Конотопа, ожидая, что гетман Выговский сам явится или пришлет ему повинную.

Так стоял он два месяца, не посылая даже летучих отрядов для разведок в глубь Малороссии и по ту сторону Днепра.

Дурные последствия вскоре сказались: 27 июня к вечеру огромные таборы татар, или, как их называли тогда, хан с калгою, и казаки под предводительством Выговского остановились на берегах Сосновки, недалеко от Конотопа.

Узнав здесь, что князь Трубецкой, не окопавшись, стоит лагерем и не думает даже о близости неприятеля, Выговский зашел в шатер хана.

Он передал ему, что желал прежде укрепиться на берегах Сосновки, чтобы дать сражение русским, но теперь раздумал: необходимо взять несколько отрядов и врасплох ночью напасть на врагов.

Хану эта мысль понравилась, и, оставив при хане в засаде,

в лесах, большую часть татар и казаков с орудиями и обозами, Выговский с летучими отрядами своими ночью же выступил в поход.

Ночи на Украине очень темны, когда луны нет, и поэтому они за полночь достигли нашего лагеря. Здесь, не доезжая еще лагеря, Выговский на полях нашел огромное количество наших обозных и кавалерийских лошадей; все они были забраны и погнаны по направлению к Сосновке.

В такой же беспечности находился и весь лагерь князя Трубецкого – без выстрела неприятель ворвался туда и начал сонных людей крошить или забирать в плен.

Ударили тревогу, не зная даже, где и что делается. В лагере слышны были выстрелы, проклятия, крики и стоны раненых и умирающих. Но вот многие очнулись, собрали вокруг себя ратников и ударили на врага. До свету успели они очистить лагерь от казаков; Выговский, боясь при рассвете быть окруженным и уничтоженным, поспешно удалился.

Стало рассветать, сумятица унялась, и князь Трубецкой, озадаченный и ошеломленный, созвал совет военачальников. Судили, рядили, горячились и решили: болыние-де неприятельские силы не могут быть вблизи, иначе им дали бы знать давно, и это, должно быть, какой-нибудь отряд под предводительством хана и гетмана налетел на нас врасплох, чтобы ограбить и ускакать. Став на этой точке зрения, подняли всю нашу кавалерию, разделили ее на два полка, вручили командование ими князьям Пожарскому и Львову и от-

дали им приказание полонить и хана и гетмана, отбив у них и людей, и лошадей, и скот, которых они угнали с собою.

Решено и исполнено: вся кавалерия наша, в количестве более двух десятков тысяч, составлявшая гордость нашу и первая в Европе, под командой двух князей Семенов, женихов царевен, двинута вперед.

Как вихрь эти массы помчались в день Троерукой Богородицы, то есть 28 июля.

Кавалерия неслась вперед и застигла верстах в двадцати пяти от Конотопа врага. В ожидании погони гетман спешил-ся, сделал завалы и засел там. Наши войска тоже спешили-ся, и началась отчаянная резня, татары и малороссы, видя себя побежденными, бросились на лошадей и ускакали с гетманом. Началось ожесточенное преследование его.

По дороге многие из местных жителей предупреждали Пожарского, что за Сосновкой стоят огромные неприятельские силы; но тот не верил этим толкам и, боясь выпустить из рук крымского хана, которого в особенности ему хотелось иметь пленником, он вопил:

– Давайте мне ханишку! Давайте калгу – всех их с войском таких-то и таких-то... вырубим и выпленим.

– Князь Семен Романович, не галдей, – говорит ему товарищ князь Львов, – не ровен-де час... Татары услышат, хану передадут.

– Да ну их! – кричит князь Пожарский. – Нам бы только добраться до них.

— Князь Семен Романович, — предостерегает вновь Львов, — люди бают: много турок и казаков за Сосновской рекой.

— Эх-ма! А нас, что ль, мало? Да мы татарву копытами вытопчем.

Сила за ними, точно, внушительная несется, двадцать, а может быть, и целых тридцать тысяч рейтаров и драгунов, да и в придачу казаки.

Все молодцы, да на добрых конях, с мушкетами, пищалями и пиками, на головах шеломы, у большинства латы, а при бедре сабли, ятаганы, пистолеты в седлах. Это та конница, которая, как буря, некогда прошла от Смоленска до Вильны.

Мчатся они так за Выговским, отсталых его воинов аль рассекают, аль в полон берут, и у самой Сосновки нагоняют его.

Выговский со всеми казаками бросается в Сосновку и переплывает; Пожарский со своими туда ж в Сосновку и, так сказать, на хвостах гетманского войска, тоже переплывает реку и бросается за ним.

Но едва только вся наша конница очутилась на том берегу, как увидела себя окруженной со всех сторон татарами и казаками. Раздался страшный грохот орудий, и картечь со всех сторон посыпалась на них; потом раздались выстрелы мушкетов, пистолетов.

Наши попробовали спешиться. Но такая масса нашей конницы собралась на небольшом пространстве, и столько уж

было убитых и раненых лошадей и людей, что нельзя было двигаться ни в какую сторону.

Между тем татары высыпали со всех сторон, как саранча, и начали даже стрелять с той стороны Сосновки.

Наши бились с ожесточением, но гибли, как мухи, так как неприятелю было легко попадать в их массу.

После нескольких часов такой драки осталось наших в живых не более пяти тысяч. Они должны были сдаться.

Зной стоял невыносимый, весь день ратники или сражались или мчались, ничего не ели и терпели жажду, а тут пришлось еще несколько часов биться; многие до того изнемогли, что тут же перемерли.

Князь Львов, не отличавшийся особенно крепким сложением, тоже изнемог и не мог больше сражаться.

Видя неминуемую гибель, князь Пожарский решился во что бы то ни стало пробиться: он скомандовал оставшимся еще в живых ратникам сесть на коней и обратно плыть с ним через Сосновку.

Воины последовали за ним; князя Львова они усадили на лошадь и повернули к реке.

Несмотря на убийственный огонь с той стороны Сосновки, Пожарский успел реку переплыть, но враг предупредил его: почти всеми силами он появился здесь и встретил его рукопашно.

Пожарский не сдался бы. Но лошадь его пала убитой, и в то время, когда он барахтался под нею, чтобы освободиться,

на него налетел целый десяток татар и, скрутив по рукам и ногам, взяли его в плен.

За его пленением сдались и остальные ратники, да и князя Львова вскоре татары привели скрученного по рукам.

Как только закончили эту бойню татары и малороссы, так тотчас Выговский и крымский хан снялись и отступили, чтобы занять более крепкую местность. Но эти опасения были напрасны: Трубецкой, узнав о несчастий с его конницей, тотчас снял осаду Конотопа и со всею армиею отступил в Путивль.

Всю ночь татары двигались назад и к свету лишь разбили лагерь и развели огонь.

Отдохнув после тяжелой борьбы и движения, хан потребовал к себе пленного Пожарского.

При хане состоял толмач Фролов.

Через него он спросил князя:

– Почему ты воевал в прошлых годах против крымских царевичей в Азове?

– Потому, – ответил князь, – что царь меня послал туда.

– Отчего ты заставлял их принять христианство?

– Не заставлял, а уговаривал и обещал им много милостей от царя. У нас-де и Сулешов из крымских, и Булашovy, и Черкасские, и Урусовы, да Юсуповы... последний и поместьи получил, почитай, тысяч сорок... да все в разряд внесены князьями.

– Так ты, значит, искушал царевичей, так я, князь, вот что

тебе скажу: прими ты мою веру, так останешься не только у меня князем, царевичем, чем хочешь, а не признаешь пророка Магомета и Аллу, – секим башка, то есть голова долой.

– Татарва ты неверная, змея подколодная, да чтоб я, да православный, да твою поганую веру принял? Да плюю я и на твою веру и на тебя самого...

И с этими словами Пожарский плюнул ему прямо в лицо и в бороду – высшее оскорбление у мусульман.

Хан взбеленился, крикнул страже, и в один миг голова князя слетела.

После того разъяренный хан велел рубить головы всем пленным. Как на баранов, накиннулись на наших ратников татары, и не более как в час времени пять тысяч голов слетело.

Оставлен был в виде заложника один лишь Львов, так как хан рассчитывал получить за него богатый выкуп.

Окровавленные татары пошли вперед, но Трубецкой уж отступил. Недели через две и князь Львов не выдержал виденных им кровавых сцен: он с ума сошел и умер.

Князь Львов оставил потомство в боковой линии, но с Пожарским угас этот доблестный род.

XIV

Первое возвращение Никона в Москву

Ничего не зная об этих кровавых бойнях, Москва радостна и ликует.

Она убралась вся, как на пир: всюду веселые лица, всюду, несмотря на строгое запрещение светских песней, слышны веселые звуки...

Это возвещено ей, что в Москву везут взятого в плен князем Юрием Долгоруким коронного литовского гетмана Гонсевского.

Гонсевский был один из сильнейших магнатов польских, и имя его гремело у нас как имя не только знатного поляка, но и бравого полководца.

Желая быть избранным в короли Польши, в предшествовавшем году, Алексей Михайлович отправлял к нему Матвеева со специальной целью – просить его содействия ко возведению его, Алексея Михайловича, на престол польский.

Гонсевский принял Матвеева с царской пышностью, и хотя обещал свое содействие, но привел при этом много причин несбыточности плана и в заключение сказал, что если царь возьмет в невесты царевичу Алексею Алексеевичу племянницу короля польского, то еще есть надежда, что послед-

него изберут в короли Польши.

Матвеев однако ж на это ответил, что племянница короля католичка и, вероятно, не захочет принять православия, а без этого она не может быть и женой наследника престола.

Гонсевский был, таким образом, из приверженцев России, но пленение его и привоз в Москву имели важное политическое значение.

Отец его во время междоусобицы был от имени короля Сигизмунда начальником Москвы, испепелил ее; он же потом защищался в кремлевских стенах долго и упорно против Пожарского и Минина и против их предшественников.

Народные предания сохранили следующее сказание:

Москва целовала крест королевичу польскому Владиславу и добровольно сдалась полякам, послав своих именитых бояр и духовных за новым царем... Но тот не едет, и вот 19 марта, во вторник на Страстной неделе, в час обедни раздастся вдруг набат в Китае-городе и слышатся стук оружия и выстрелы.

Гонсевский, градоначальник польский, прибыл на место свалки и увидел, что поляки грабят купеческие лавки; силится он остановить беспорядок, но ничего не может сделать: ожесточенная борьба уже на обеих сторонах.

Ляхи вломились в дом князя Андрея Голицына, принявшего сторону народа, и убили его.

Жители Китай-города бросились из домов своих в Белый город и за Москву-реку, но ляхи догоняли их и рубили;

у Тверских ворот однако ж наши стрельцы успели их остановить.

На Сретенке, услышав о разгровлении Москвы ляхами, князь Дмитрий Пожарский собрал вокруг себя дружину и, сняв с башен пушки, встретил ляхов огнем и мечом и вогнал их вновь в Китай.

Между тем Иван Бутурлин в Язух и Колтовской за Москвой-рекой также резались с ляхами, окружив себя и дружинами и народом.

На улицах Тверской, Никитской, Чертольской, на Арбате и Знаменке народ и бояре тоже бились с польскими войсками.

Все сорок сороков московских ударили в набат, все жители, даже старцы и дети, женщины, высыпали на улицу с дрекольями, топорами и рубились с поляками; из окон и с кровель летали на врагов камни и чурбаны. Улицы загромождались столами, лавками, дровами, домашней утварью, возами. Из-за этих преград встречали врагов выстрелами.

Москвичи брали явный перевес над поляками, как явился из Кремля к Гонсевскому в помощь Маржерет...

Битва пошла упорная, но москвичи стали одолевать врага, и он уже отступал в Кремль, как вдруг в вражьей дружине раздалось: огня, огня!..

В Белом городе запылал дом Салтыкова: как друг поляков он собственноручно зажег свой дом.

И во многих других домах показалось пламя.

Многие бросились спасать свои дома, а сильный ветер сразу стал бросать пламя из одного дома в другой; битва стала утихать, и поляки ушли в Кремль, где они заперлись.

Белый город весь запылал; набат гремел без перерыва. С воплем и отчаяньем москвичи гасили огонь, бегали, как безумные, ища своих жен и детей.

Ляхи же в пустых домах Китай-города, среди трупов, отдыхали, и многие, к позору нашему, русские посоветовали Гонсевскому разрушить Москву.

На другой день две тысячи ляхов и немцев выступили из Кремля и зажгли во многих местах города дома, церкви, монастыри и гнали народ из улицы в улицы и оружием и пламенем.

Ужас обуял всех: деревянные стены горели и рушились, и жители, задыхаясь от жара и дыма, бежали из Москвы во все стороны на конях и пешие, спасая свои семейства.

Несколько сот тысяч людей вдруг рассыпались по дорогам во все стороны.

Снег еще тогда лежал глубокий, и эти беглецы вязли в его сугробах, цепенели от холода и замерзали. Умирая, эта масса народа глядела потухающими глазами на пламя горящей Москвы и с проклятием ляхам умирала тут же.

В двух только местах русские удержались: в Симоновской обители и между Сретенкой и Мясницкой.

В последнем месте князь Пожарский укрепился и дрался ожесточенно с поляками, не давая им жечь город; ляхи от-

ступали, но Пожарский, тяжело раненный, упал. Сподвижники подняли его и отвезли в Сергиевскую лавру.

Весь тот день поляки жгли Москву и ночью любовались из Кремля пожарищем.

Это сожигание Москвы продолжалось потом два дня.

Москва, простиравшаяся на двадцать верст в поперечном разрезе и имевшая несколько сот тысяч жителей, обратилась в пустыню и в груды развалин.

Развалины курились потом долго...

Для полного торжества своего поляки заграбили всю древнюю утварь наших царей, их короны, жезлы, сосуды, одежду; грабили частные дома; золото, серебро, жемчуг и камни понатащали горами; рядились только в бархат и парчу; пили из бочек старое венгерское и мальвазию...

А русские, советовавшие им это безбожие и безобразие, в Кремле в Светлое воскресенье молились за царя Владислава...

Памятно и живо было это не только в предании народном, но многие из москвичей, свидетели этих ужасов, были еще живы и рассказывали об этих подвигах Гонсевского, и теперь сын этого Гонсевского, первый вельможа и воевода Польши, едет как пленник в Москву.

Хотя как трофей, но все же с почетом царь велел его ввести в Москву.

Народ несметной толпой двинулся на Смоленскую дорогу, откуда должен был прибыть пленник.

– А что, его жечь будут на Лобном? – спрашивает один из бегущих на Смоленскую дорогу.

– Аль жечь, аль колесовать, аль четвертовать, как царь да бояре соизволят, – отвечал авторитетно вопрошаемый.

– Что ты! что ты! – останавливается третий. – Бают стрельцы, из Царя-де пушки его выстрелят, – значит, туда на польскую сторону... и полетит, значит, он туда восвояси к ляхам.

– Да что вы тут рты раскрыли, – кричит на них появившийся пристав, – приказ-де воеводы не останавливаться...

– Да мы, почтенный...

– Вот я те почтенный...

– Да уж скажи, почтенный... аль четвертовать будут, аль колесовать, аль из Царя-пушки?..

– На Иване вздернут... чтоб Москва и крещеный мир видели...

– Ахти страсти какие!

И побежали все трое рассказывать любопытным, что вот-де Гонсевского да на Иване повесят, сам-де пристав сказал.

И гуторит толпа о разных пытках и казнях, какие готовятся сыну сжигателя Москвы; а тут вдруг показывается сначала наше конное войско, потом пешее, – последнее окружает пленников пеших, – а там несут и везут разные трофеи: пушки, знамена, барабаны; а там в коляске сам гетман; с ним сидит ближний боярин царский, а коляска окружена сильным конвоем.

Гонсевский кланяется народу налево и направо.

– Прощения просит за родителя, – кричат многие.

– Его бы на возу... а то, гляди, в колымаге, да еще царской... и кажись, с ним... а кто с ним?.. Эй ты, как тебя там?

– Аль боярин Борис Иванович, аль боярин Илья Данилович.

Бежит баба, расталкивает их и мчится вперед.

– Ай, опоздаю... пустите... пустите, православные христиане.

– Куда ты, точно с цепи.

– Ай, опоздаю, родненькие.

– Да куда?

– Да я-то?.. Поглядеть... поглядеть, родненькие, как-де вешать будут бусурмана.

Но диво: подъехала коляска к Красному крыльцу, а там встретили Гонсевского стольники и Матвеев, ввели в его царские комнаты.

Народ недоумевает.

– А вешать-то? А четвертовать? – раздаются голоса.

– Лгал-то, вишь, ярыжка, – оправдывается одна чуйка.

– Лгать-то лгал, и мне-то невдомек... Допрежь баяли, на виселицу, а теперь?..

– Теперь...

– Чаго таперь?.. Значит, батюшка царь... Тишайший-то наш и пожаловал: кого хошь, того милует, на то царская воля... И нам Господу Богу помолиться, и греха не будет... Хоша басурман, но все ж душа.

– Эк, широко стал... аль у басурмана да душа?

– Души-то нетути... один, значит, пар, – авторитетно произнес гостинодворец.

Между тем во дворце представляли гетмана Гонсевского царю.

Алексей Михайлович встретил его милостиво в приемной. Сожалел о случившемся с ним несчастий, приписывал это случайности войны и обещался ему покровительствовать.

Гонсевский выразил сожаление свое, что еще мир не установлен между Польшею и Русью, и, между прочим, сказал следующее:

– Когда знаменитый наш гетман Жолкевский повез в Варшаву пленного царя Василия Шуйского и присягу Москвы королевичу Владиславу, он на коленях и со слезами умолял короля Сигизмунда отпустить сына и говорил, что счастье обоих народов, польского и русского, в соединении их корон. Так мыслит каждый честный поляк.

– Но, – прервал его царь, – у вас много фанатиков-католиков, и это препятствует этому слиянию... Я вот объявил в завоеванных провинциях, что все религии одинаково будут покровительствоваться. Глядите, у нас татары пользуются не только свободой исполнять свой закон, но всеми правами русских.

– У нас, ваше величество, было то же самое: когда Сигизмунд вступил на престол, в сенате было семьдесят два чело-

века сенаторов, из них два только католика. Теперь почти все католики. Сигизмунд соблазнил шляхту к католицизму тем, что раздавал должности только католикам. Но стоит только соединиться коронам, и святейший папа, вероятно, сделает соглашение в канонах, чтобы слить обе церкви: нашу и вашу.

– Это и я думаю, – заметил царь Алексей Михайлович, – ведь вера у нас одна. Но у вас шляхтичи привыкли избирать королей, а у нас прирожденные права.

– Это действительно так, и сначала должны бы оставить выборное начало, а там остальное со временем пришло бы само собою. Оба народа сблизились бы и слились: наше хорошее перешло бы к вам, ваше – к нам.

– Благодарю тебя, гетман, за твои добрые чувства и намерения, но одно скажу: судьбой царств управляет Божественный промысел, и если соизволение Господа Бога, чтобы оба народа и оба государства слились, то никакие преграды не помешают этому, и если это не свершится при мне, так при моих потомках.

С этими словами царь отпустил благосклонно пленника. Его повезли в Симонов монастырь, собственно, для его безопасности – на тот случай, если бы народ возмутился и потребовал расправиться с ним.

Сильный отряд проводил его до самого монастыря, и там же поставлен значительный караул.

Вскоре пришла весть о победе князя Хованского над поляками при Мядзелах, и пошли празднества и молебны.

Царь был радостен: дела в Польше шли хорошо, со шведами было перемирие и шли переговоры о мире; в Малороссии хотя осада Конотопа шла медленно, но это было с целью разорвать союз Выговского с крымским ханом да с ним примириться.

Вдруг по Москве разнеслась весть, что князь Трубецкой разбит гетманом и татарами, что большая часть нашего войска уничтожена и отступает на Путивль.

Едва только весть эта пришла, как вся Москва, как один человек, бросилась в Кремль, чтобы узнать там истину.

Жены пришли сюда с детьми, и всеобщий вопль и негодование оглашали воздух, но были такие, которые не дали веры этому слуху.

— Как, — говорили они, — князь Алексей Никитич Трубецкой, муж благоговейный и изящный, в воинстве счастливый и недругам страшный, да чтоб он да погубил войско — поклеп один.

Но вот дверь на Красное крыльцо отворилась, и сам царь со всеми боярами показывается народу.

Все падают ниц, и когда царь сказал им жалованное слово, они поднимаются и видят: царь и все бояре в печальной одежде, и царь в слезах.

Он говорит о совершившемся по неисповедимым судьбам несчастий и гибели такого множества людей, вероятно, за грехи наши, призывает всех к покаянию и молитве и к защите престола града.

Царь с боярами пешком идут в Успенский собор служить панихиду по убитым.

Начинается вооружение Москвы: кругом нее устраиваются земляные валы и редуты, копаются рвы, ставятся орудия.

Поговаривают даже, что царь удалится с семьей в Ярославль или еще подальше.

А тут из войска начинают прибывать раненые и преувеличенными рассказами о кровавой расправе татар с князьями Пожарским и Львовым увеличивают смущение и панику.

Вспоминают высшее духовенство и бояре Никона, вспоминают и донос на него, что он хвастал о влиянии своем на гетмана Выговского, а тут сам гетман с крымским ханом едут сюда и, пожалуй, овладеют Никоном, и пойдет смута в церкви.

Послали к нему боярина с вежливым предложением, так как враг наступает и патриарху-де не безопасно в Новом Иерусалиме, так не угодно ли будет ему удалиться в Колязин Макарьевский монастырь, куда едва ли враг зайдет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.